

Валерий Орлов-Корф

ЭТА КОРОТКАЯ — ДЛИННАЯ ЖИЗНЬ

Глава 1

Вертолет стрекозой пролетает над караваном машин, которые еле плетутся в горах. Вперед — назад — снова вперед. Я — второй пилот — наблюдаю, как ярко-желтая пыль то скрывает, то открывает машины с солдатами. В шлемофоне слышно, как командир и бортмеханик травят анекдоты.

Это мой второй полет. Неведомая сила рванула меня вверх. Полоса черного, полоса голубого... Жар... И вдруг... Тишина. Я смотрю сверху на землю; ярким пламенем горит остов вертолета. Солдатские фигуры обступили дымящееся тело летчика. Два больших глаза смотрят на меня в упор. Издалека, доносятся слова: «Этот вроде жив... Ранен...»

Вижу яркий, слепящий свет. Песчаная дорога. Сосны. Мне три-четыре года, и я, смеясь, бегу по песчаной дороге куда-то вперед. Мне очень весело...

...Парк. Танцы. Мне шестнадцать лет. После

какой-то драки иду с двумя девчонками по темной аллее... Дикая боль в боку. На белой рубашке справа красное, расплывающееся пятно. Кто-то из кустов кинул пику — заостренный напильник, — и она, ударив мне в ребро, отскочила, упала к ногам...

...Чернота. Яркий свет. Я на ринге. С переднего ряда слышу крик Томки, моей подруги: «Орел, убей его!» Страшная боль в правой ноге... Я лежу на спине и держу сломанную ногу над собой. Так меньше болит.

...Снова черная пелена... Ничего не вижу. Вдруг в одном глазу, как молнией, зрение раздвоилось: левая часть — чернота, правая часть — картина в тумане: фюзеляж вертолета, какие-то скобы, поручни, ребра жесткости, заклепки. Темная фигура склонилась, издалека доносится шум и голос: «Потерпи, капитан! Скоро прилетим!»

Темно. Какие-то голоса. Тяжело дышать! Головы не повернуть! Весь зажат, как в тесном ящике. Хочу открыть глаза — не могу; хочу что-то сказать — губы не повинуются. Внутри себя говорю, даже пытаюсь с кем-то спорить. Слышу: «Пока еще жив. Скорее довести да сдать. Не люблю, когда умирают на руках».

Значит, я еще жив! Пока еще не умер! Вспоминаю сон перед самой смертью отца: мы с ним ночью спускаемся в подвал нашего дома в Омске, луна освещает какое-то кладбище, кресты,

ограды, мы идем по тропинке; вдруг могилы открываются, оттуда поднимаются солдаты, здороваются с отцом, разговаривают, отец ко мне оборачивается и говорит: «Иди сынок, я останусь с ними!» Я, молча, повернулся и ушел с кладбища.

Слышу голос: «Наконец-то приехали!» Попытался открыть левый глаз, и снова полглаза — чернота, полглаза — голубое небо и тени.

Просыпаюсь от боли в руке. Сестра делает укол в руку, смотрит в глаза и говорит: «Очнулся! Доктор, летчик очнулся!» Теперь нормально вижу и хорошо слышу: «Да, мы не думали, что ты так быстро очухаешься, здоровый малый. У тебя все кости переломаны. Ничего, месяца через два бегать будешь!»

Голову не повернуть — бинты не дают. Повреждена гортань. Думаю: «Не впервой! На ринге мне тоже рвали гортань — месяц ходил в гипсовой форме и бинтах!»

Медсестра некрасивая, но чистенькая, накрахмаленная девчонка, любительница поговорить. Рассказала, что меня привезли дней десять назад с аэродрома, прямо из полевого госпиталя: думали, что не довезут, но Бог дал — все обошлось; что нас сбили ракетой, и меня выбросило из развалившегося вертолета, что я чудом остался жив, что у меня четырнадцать переломов; что, по словам врача, все со временем пройдет; что меня

поместили в палату «смертников», но скоро перевезут в «общую»; что рядом со мной лежит солдат — он, наверное, и до вечера не доживет — в агонии второй день.

Я краем глаза посмотрел в сторону и увидел бело-восковое судорожно дергающееся лицо. Хотел спросить: «Что с моими ребятами?» Но губы не шевелились. Зато сестра вскоре разрешила этот вопрос, сказав мне: «Вы, капитан, везунчик. Упасть с высоты пятьдесят метров, без парашюта, да еще не сгореть — это просто чудо! А остальные летчики... погибли...».

Я вспомнил, как бортмеханик весело смеялся над каким-то анекдотом.

Подумал, что разбиваюсь уже второй раз. Первый раз — по глупости какого-то капитана — погибли четверо, и среди них мой приятель Санька, второй пилот (тоже любил посмеяться): его разрезало на две части в разбившемся самолете. А я едва остался жив. Вспомнил, как чудом не разбился, лишь сломал себе копчик: при прыжках с парашютом был глубокий перехлест, и только у земли смог исправить положение.

Еще вереница близких и знакомых промелькнула перед моими глазами.

Сестра оказалась права: к вечеру солдат умер, освободилось место для нового смертника. На его тумбочке была небольшая золотая икона — она

тоже исчезла.

Через пару дней меня перевели в общую палату, на четырех больных. Мы все были из «горячих точек», все вместе висели на растяжках, как в парке аттракционов. Понемногу ко мне возвратилась речь, и я уже пытался «мычать», изображая подобие слов, которые хочу сказать. Медсестры часто менялись, и ни одна не запомнилась, как та, первая — чистая, некрасивая и очень болтливая. Кормили с ложечки какой-то перетертой дрянью, делали по несколько уколов в день, и у меня начались такие запоры, что я готов был получить еще один перелом ноги, лишь бы избежать мучений со своей задницей. Правда, врачи быстро исправили положение при помощи слабительных и клизмы. Обращались со мной, как с шестимесячным младенцем: пеленали, кутали, подмывали. Мои приятели читали книги, а я и этого не мог делать — руки были в гипсе. Я просто смотрел в белый потолок, заляпанный комарами, и вспоминал всю свою жизнь. Мысленно перебирал события каждого прожитого дня.

Начнем с детства, потому что оно — корень всей нашей жизни и на нем держится и питается все живое.

Первое воспоминание — далекие пятидесятые годы: жаркий день, я лежу в большом бельевом тазу, в саду, недалеко от тропинки, по которой

часто ходят соседи. Мне, трехгодовалому малышу, очень стыдно за свое обнаженное тельце, и, перевернувшись на животик, я стараюсь спрятаться за железными стенками таза. Так первое понимание жизни среди людей проявилось не через любовь, а через стыд, который играл главенствующую роль среди других чувств.

Шло время, и моя стыдливость прошла. Познакомившись, и кое-как узнав друг друга, мы со сверстниками нашего двора организовали, как сейчас принято говорить, банду малолетних сорванцов. Я, конечно, был главарем этого сообщества.

Мы в то время жили под Москвой на станции Быково. Наш дом до революции был дачей богатых купцов. Это было бревенчатое п-образное строение на каменном фундаменте. В левом крыле жила семья моего приятеля Лешки, малолетнего сорванца, и его тощей, но отчаянной сестренки Гали. В центральной части дома жила наша семья: отец, который работал в Москве, в Кремле, каким-то начальником, мать, которая работала в одной организации с отцом, и я.

В правом крыле дома жила одна пожилая толстая женщина. Она очень любила цветы и своего сибирского кота. Из-за ее цветов и этого кота у меня были большие неприятности.

В субботу и воскресенье я был всегда дома, а

в рабочие дни — в детском садике, в Люберцах! Когда я приезжал из детского сада, для Лешки и Гали наступали праздничные дни. Однообразный ритм их тоскливой жизни был нарушен — мы отправлялись совершать свои детские подвиги, как-то: забравшись в цветник толстой соседки, деревянными саблями сбивали головки георгинам и другим красивым цветам. Мы представляли себя героями из сказок, которые боролись со всякой нечистью. Если на глаза нам попадался ее большой сибирский кот, то я, как гвардеец, пускал его поплавать в большой пожарной бочке. На вопли кота выбегала его хозяйка и с жалобами на «сорванцов-головорезов» летела к моим родителям. Пока моя мать ее успокаивала, отец спокойно вынимал свой фронтовой офицерский ремень и без крика и шума просовывал мою голову себе между колен и шлепал по моей тощей заднице несколько раз на глазах кричащей соседки. После моих истощенных воплей соседка успокаивалась и тихо уходила с мокрым грязным котом.

Один раз я особенно отличился. Мне как раз купили новое серое пальтишко и фуражку. Мы с приятелями отправились на прогулку вокруг нашего дома, где и увидели мирно спавшего сибирского кота. Я тихонько к нему подобрался и, схватив его за шерсть, прижал к себе и крикнул друзьям: «Вот наш водолаз! Пойдемте к бочке!»

Там я окунул бедное животное в воду и крепко держал некоторое время. Кот разодрал лапами мое новое пальто, поранил мне щеку и руку, вырвался и убежал к своей хозяйке. Ее не было дома.

Скандала не последовало, но новое пальто и кепка были здорово испорчены. Дома мне крепко досталось от матери и отца. Я для приличия поорал, но полностью признал свою вину.

С Быково у меня связано много всяких воспоминаний — и хороших, и плохих: детская память крепко держит в своих объятиях все, что было с пятилетним тельцем.

Помню, как, забравшись на забор, мы втроем долго выжидаем какого-нибудь велосипедиста и, когда он проезжает мимо, я первым прыгаю ему на багажник. Велосипедист провозит меня несколько метров, а когда останавливается, я убегаю... и долго чувствую себя героем дня. Иногда, правда, некоторые, особенно молодые, лягают меня ногой, и я получаю синяки. Но удовольствие прокатиться бесплатно многого стоит для пятилетнего мальчишки. Я был здоровым, крепким, отчаянным ребенком; для меня подраться со своими сверстниками было в порядке вещей. Иногда получал крепкие удары и синяки, но больше раздавал их сам. Никогда ни перед кем не кланялся, не просил пощады. Если был виноват, то за все получал сполна, немного поплакав или вдоволь

поорав.

Моя детская память хранит и трагические случаи. Наш дом находился в дачной местности, и по субботам и воскресеньям много народу приезжало из Москвы на отдых. Однажды выхожу во двор нашего дома, смотрю — толпа людей у большого куста сирени. Я пролез в первые ряды и увидел страшную картину: ногами ко мне лежали двое — мужчина и женщина, оба были уже мертвы, им перерезали горло бритвой какие-то подонки — за фотоаппарат и часы. Говорили, что это дело рук убийц из банды «Черная кошка».

И похожих случаев было немало в то время. Помню беспокойный вечер и очень тревожную ночь. Все бегали, кричали, плакали: у соседей, наших знакомых, старший сын учился в Москве, в институте. Вечером он возвращался на электричке домой и случайно попал под поезд — ему отрезало обе ноги. А парню было всего восемнадцать лет.

Помнятся, конечно, и приятные моменты. На станции был синего цвета ларек, который почему-то имел ванильный запах. Он был небольшой, но на его прилавках размещалась всякая всячина, здесь соседствовали товары ширпотреба и продукты питания. Ширпотреб меня не интересовал, а продукты питания были разнообразные. Особенно запомнились маленькие и большие металлические круглые коробки с черной

и красной икрой, разнообразные конфеты, шоколад и красивые коробки с пастилой. Белоснежные и пастельные тона этого продукта, его необычный, волшебный вкус остались в памяти моей на всю жизнь.

В центре, среди всех этих предметов торговли, висел портрет вождя, генералиссимуса Сталина, в летнем кителе, с улыбающимся, приветливым лицом. Он как бы говорил: «Все это для вас, для народа. Вы это заслужили!» И я долго верил, что это так!

Хоть я и был отчаянным, озорным мальчишкой, но у меня была чистая и нежная душа от природы, и я, как многие дети, остро реагировал на добро и зло. Однажды вечером, сидя на кровати, я рассматривал журнал «Крокодил», где в иносказательной форме были изображены государства и их отношения между собой: Петух (Франция) сидел на шесте дворца, а к нему подкрадывался Лев (Англия), и мне было так жалко бедную птичку, которую должен был разорвать злой лев, что я горько заплакал.

В другой раз отец из Москвы привез живую рыбу, кажется, карпа. Он плавал у нас в тазу, и я с ним легко подружился, кормил его хлебными крошками, а он подплывал и все их съедал. Мы были друзьями! Но так продолжалось недолго; через два дня мать зарезала и зажарила моего друга

— рыбу. Я очень переживал и, когда родители ели рыбу, тихо плакал на кухне и не смог проглотить ни кусочка.

Для пяти — шестилетнего ребенка я был очень самостоятельным. Однажды на вокзале в Москве отец оставил меня у скамейки на перроне, а сам пошел купить слив, пока не подъехала электричка. Я немного подождал, увидел нашу электричку и спокойно прошмыгнул в вагон, думая, что отец тоже вошел в другую дверь. Так как я часто ездил с родителями в Москву, то знал, что пятая остановка будет Быково. Я доехал до своей станции, вышел и пришел домой, где встретился с мамой. Та очень переживала, что я один доехал до дома, дала мне подзатыльник и долго плакала. Часа через два пришел отец, у него был вид очень больного человека; не видя меня, он сказал, что я пропал. Мать его успокоила, и все обошлось как нельзя лучше для меня!

Недалеко от станции за большим забором находилась пилорама. Ее звуки меня удивляли и пугали, а у забора всех всегда встречала злобным лаем огромная собака. Даже через много лет, посетив эти места, я снова услышал звук пилорамы и лай собаки. Мне в детстве всегда думалось, что там пилили не дерево, а живые тела людей, а лай собаки только заглушал их крики и стоны.

Наш двор был открыт с двух сторон, поэтому

считался проходным. Свои и чужие часто встречались там, здоровались и расходились навсегда. Однажды я играл в песочнице у крыльца. Ко мне подошел мужчина лет тридцати пяти, низко наклонился и сказал: «О, маленький еврейчик!» Так для меня впервые встал национальный вопрос! Хотя я не знал, какой я нации, но эта фраза на всю жизнь запомнилась мне. Позже я узнал, что среди моих предков есть русские, немцы, поляки, карелы. Поэтому я был бесшабашен, как русский, расчетлив и аккуратен, как немец, красив, как карел, нетерпим, как поляк.

Этот мужчина был чисто и хорошо одет, в темном костюме и шляпе. Но вся его наружность насторожила меня, и я громко заревел. Этот человек как внезапно появился, так внезапно исчез с нашего двора. Но не из моей памяти. Похожих людей я часто видел в кино в роли шпионов, агентов, разведчиков. В них не было открытости, и их появление вызывало тревогу.

На станции Быково не было своего кинотеатра, и вот однажды, в начале лета (а было яркое солнце, голубое небо и нежная зелень), «большие» мальчишки из соседних домов собрались гурьбой ехать на другую станцию в кинотеатр. Каким-то образом я оказался среди них. Как меня, пятилетнего ребенка, пустили родители — не помню! Проехали на электричке одну — две

остановки. Вышли. На большой площади стояло красивое здание с большими белыми колоннами. Это был кинотеатр. Дальше я помню, что попали в темный зал, битком набитый людьми. Устроились в проходе. Я с восторгом смотрел на экран. Если мне не изменяет память, это был кинофильм «Чапаев», потому что там скакали на конях и размахивали саблями военные в бурках, стучал пулемет, плыл человек через реку. Потом человека не стало, и я все ждал, когда он появится вновь, но загорелся свет, и мы оказались на залитой ярким солнечным светом площади. Это первое посещение кинотеатра запомнилось мне на всю жизнь.

Быково — красивейшее место под Москвой. Недаром там было много дач, построенных до революции тысяча девятьсот семнадцатого года. Представьте себе сосновые боры, березовые рощи, желтые песчаные дороги, большой пруд с островом, на котором возвышается каменная беседка белого цвета... Что может быть красивее этого пейзажа в летнее время! Мы часто ходили с ребятами на берег пруда. Цвет травы, песка, воды запомнились мне. Вспоминаю, как однажды, бегая по бревнам на берегу пруда, я поскользнулся и упал в воду. Страх охватил меня, когда я не достал ногами дно, но каким-то чудом я уцепился ручонками за бревно и быстро вылез из воды. Дома, конечно, я никому не сказал об этом происшествии, хотя воспоминание о

детском страхе того дня до сего дня холодит мою душу.

Еще с детства я испытывал страх перед собаками. Видимо, меня сильно напугала наша дворовая собака, крупная серая овчарка Альма. Откуда она появилась, никто не знал, но она ухитрилась принести щенков и устроиться под лестницей нашего дома. Нередко мне приходилось дожидаться взрослых, чтобы попасть домой. Альма ко всем была равнодушна и никогда не виляла хвостом, даже если ее кормили. Но меня она воспринимала как-то странно: то не замечала совсем, то бросалась мне на грудь и рычала. Ее желтые клыки, высунутый красный язык, лай, и желтый блеск глаз сделали меня заикой до тринадцатилетнего возраста — тогда я от волнения не мог произнести ни одного слова нормально. Но это заикание имело и положительную сторону: оно сделало меня настоящим мужиком, который в дальнейшем всегда мог постоять за себя. Мои обидчики, которые называли меня «заикой», часто получали неожиданный и смелый отпор. Так что все имеет свои плюсы и минусы в этой жизни.

Перед окнами нашего дома росла красивая, пышная сирень. В конце мая и июне, когда было тепло, и окна были открыты настежь, гроздь пахучих цветов лежали на подоконнике. Цветы сирени были крупные, лилового и фиолетового

цвета. Под сиренью росли кусты крыжовника, а за тропинкой, на нашем участке, было несколько яблонек и вишен. В августе они приносили богатый урожай. Крупные, ровные, налитые летним теплом ягоды долго лежали на столе в большой тарелке, и я, набивая себе во рту оскомину, лениво наслаждался спелой вишней и крыжовником.

Как уже говорилось, мои родители работали в Москве, а меня отвозили на всю неделю в детский сад на станцию Люберцы.

Это было двухэтажное каменное строение, окруженное небольшим садиком с несколькими клумбами оранжевых цветов. Забор был тоже каменный, с железными решетками, через которые мы с любопытством смотрели на тихую улицу и редких прохожих. Во двор каждый день приезжала старая «полупторка» — машина, которая прошла через огонь войны, о чем говорили все ее вмятины и дырки. Она долго чихала и кряхтела; чтобы завестись, шоферу надо было выходить из кабины и долго крутить рукоять. После двух — трех попыток и грубой ругани машина заводилась, шофер успокаивался, и полупторка покидала двор. Эта машина привозила продукты в больших фанерных ящиках, молоко в бидонах, белье, дрова. Осенью и весной вывозила мусор из двора.

Нас, детей, доставляли сюда в понедельник, а забирали вечером в субботу. Так что целую неделю

мы жили без родителей и варились в котле своих детских отношений.

Не помню не одной воспитательницы, но запомнил злую девушку-уборщицу, которая почему-то дразнила меня и доводила до слез. Когда я плакал, на ее лице было большое удовольствие и нечеловеческая радость, испытываемая от плача беззащитного ребенка. Я чувствовал, что еще мал и бессилен, не могу ей противостоять. Обиды она старалась наносить незаметно для воспитательниц. Я ревел, сильно переживал, но никогда не жаловался — и это ее радовало. Видимо, в ее детстве над ней тоже издевались, и она впитала в себя грязь, которую теперь выбрасывала наружу.

Но со своими сверстниками я был другим человеком — самые теплые места, хорошие игрушки и большие куски хлеба были всегда моими. Помню мальчика Вову, с которым я всегда дрался из-за машинки. Воспитателям это надоело, и машинка однажды просто пропала, а наши распри закончились.

Мальчики и девочки жили одной большой семьей. В спальне кровати располагались одна за другой. Не было ни одной красивой девочки, с которой я не был бы близко знаком, то есть не ощущал с головы до пят. Я был очень любопытен! И всегда интересовался, почему девочки и мальчики такие разные. Это интересовало не только меня.

Летом, на прогулке, пока воспитательницы болтают между собой, группа ребятшек уединяется где-нибудь в углу садика, и там начинают тщательно изучать — кто из чего писает. А то, забравшись на скамейку, несколько мальчиков одновременно стараются пустить свою струю — как можно дальше соседа. Победитель ходит гордый, что стал чемпионом в этом виде спорта. Девочки всегда бывают рядом и болеют за своих дружков.

У меня тоже была почитательница моих талантов. Звали ее Катей. Девочка одного со мной возраста, невысокая, белокурая, с большими голубыми глазами. Она была для меня первой красавицей в детском саду. Мы были всегда вместе, и я часто защищал ее от посягательства других мальчишек.

У нее была двоюродная сестра, тоже в нашей группе, но резкая противоположность Кате: высокая, толстая, с рябым лицом и всегда с жирными, неопрятными волосами. Она была неравнодушна ко мне, и по понедельникам, когда мы все встречались после выходных дней, она приносила много всяких сладостей, которые прятала в своем шкафчике для одежды. И часто мне предлагала то конфету с красивым фантиком, то шоколадку. Я не мог отказаться, потому, что был страшный сладкоежка, но всегда делился

сладостями с Катей. Ее сестра, ревнуя меня, несколько раз отбирала подарки у моей подружки, поэтому я старался делать это незаметно.

Наши гостинцы из дома обычно кончались на второй — третий день пребывания в детском саду, и тогда начиналось самое интересное. Недаром говорят: кто смел, тот и съел. Это точно о нас, детишках! На завтрак, обед и ужин всегда к каше или супу давали два — три кусочка хлеба. Очень часто хлеб оставался, и воспитательницы собирали его на тарелки, которые ставили в буфет. А так как ребенок всегда должен что-нибудь жевать, то всякий малыш считал своим долгом утащить хлеб из буфета. Воспитатели этого делать не разрешали, чтобы дети не испортили себе желудки. Как только нас укладывали спать, и взрослые уходили, самые смелые, а я — первый, бежали к буфету и хватали куски хлеба. Моя кровать стояла ближе всех, поэтому самые вкусные горбушки доставались мне. Один кусок я передавал Кате, но большую часть оставлял себе. Так что детский сад научил меня бороться за выживание в этой непростой жизни.

Однажды в понедельник сестра Кати принесла очень красивую куклу. Она всегда держала ее при себе, одна с ней играла. Все девочки ей очень завидовали, в том числе и Катя. Я решил помочь моей подружке, дать возможность поиграть с куклой. Когда сестра Кати уснула, я вытащил куклу

из-под ее одеяла и передал Кате. Она сначала очень испугалась, но потом, притянув куклу к себе, не расставалась с ней целый час дневного сна. Проснувшись и увидев, что куклы нет, сестра Кати подняла истерический крик, на который прибежала испуганная воспитательница. Ей сказали о пропаже, и она стала искать. Кукла нашлась под подушкой у Кати. Девочку стали ругать, но я сказал, что это вина не Кати, а моя, что я взял куклу и дал поиграть Кате. Нас выругали вместе и поставили в угол. А куклу, так как она была очень дорогая, заведующая поставила в свой кабинет, и вернула родителям только в субботу.

В июне-месяце весь садик отправляли в летний лагерь. Это были постройки барачного типа с белыми окошками и дверьми. Местность, где был лагерь, была болотистой. Кроме комаров, омрачавших нам жизнь, там была трава с острыми краями — осока, о которую мы часто резались. Комары и эта трава портили нам весь отдых. Правда, некоторые дети ухитрились из этой жесткой травы плести плети, пояса и коврики — их этому учили воспитатели.

В тот год мы все подцепили какую-то заразу, и к нам никого не пускали. Вместо того чтобы весело бегать по дорожкам лагеря, мы рядком сидели на горшках, страдая от дизентерии и рассматривая свои искусанные руки и ноги,

тщательно замазанные зеленкой.

Самый приятный день в садике — это суббота! Во второй половине дня приходят родители и забирают своих детей. Какое счастье охватывало меня, когда я видел родное лицо своей мамы. И с криками радости я устремлялся к ней, обхватывал ее своими ручонками, прижимаясь лицом к ее животу, и замирал от наслаждения близости к родному человеку.

Летом мать часто была одета в черное платье с белым горошком и белым воротничком. Ее голову украшала широкополая соломенная шляпа с лентой. А зимой на ее плечах лежал пушистый лисий воротник с тонкой мордочкой лисицы с выпуклыми стеклянными глазами.

По субботам приходила всегда одна мама, а по понедельникам отвозил меня в садик отец. Эти понедельники я вспоминаю с содроганием, особенно зимой и в холодное время осени и весны. Меня вытаскивали из теплой постели, сонного и плачущего, пытались надеть на мое жаркое тельце холодную одежду, выносили на улицу, где я до самого садика плакал и устраивал истерики. Одно могло меня успокоить: на станции, в магазине, отец покупал шоколадку, и я, набив рот сладостью, забывал о своей горькой участи.

Так продолжалось три года. Однажды в понедельник мы ехали в садик на электричке. Вдруг

раздался жесткий мужской голос из радиоприемника: «Товарищи, умер Сталин!». В ту же секунду все встали, я, было, закапризничал, но отец так грубо одернул меня, что я испуганно замолчал. Так, стоя, мы и доехали до станции Люберцы.

После смерти Сталина у отца на работе появились неприятности. Я видел его всегда хмурым, без улыбки на лице. Вскоре услышал, что мы уезжаем в город Омск. В нашу квартиру въехал новый жилец, мужчина лет сорока, я его хорошо запомнил потому, что он был очень смуглым, с вьющимися волосами; вся грудь, руки и шея были тоже покрыты черными завитками волос. Еще он привез телевизор «КВН», который сделал своими руками, и на маленьком экране, через большую стеклянную линзу, перед нашими глазами плыли трясущиеся черно-белые картинки. Для пятидесятых годов это было чудо — кино дома!

В это время к нам приехала бабушка, мамина мать, и привезла мне две игрушки. Первая — строительный набор, который состоял из рубанка, пилы, молотка и линейки. Этот набор не произвел на меня должного впечатления, и родители его убрали куда-то в шкаф. Зато вторая игрушка была мечтою всякого мальчишки — это был заводной железный танк зеленого цвета, который при движении стрелял искрами. Эта игрушка поразила

меня — я пытался узнать, почему танк двигается и почему из его дула вылетают искры. Игрушка прожила не более двух дней, но память о ней осталась надолго.

Бабушка и мать часто плакали, гладили меня по голове и очень жалели. Я понял одно: за какую-то провинность нас выслали в далекую Сибирь.

У моих родителей была непростая судьба. Отец — Орлов Алексей Федорович, родился после революции, в 1918 году. Никаких документов о рождении и родителях у него не сохранилось. По его рассказам, семья жила в Московской губернии (области). Жили на хуторе очень хорошо, было несколько коров, лошади. Его отец был хорошим сапожником, делал модельную женскую обувь, поэтому очень ценился среди жен начальников округа.

В 1934 и в 1936 годах семья подверглась конфискации имущества. В 1938 родителей отца репрессировали и выслали в Петрозаводск. В 1939 — 40 годах отец участвовал в Финской войне, был тяжело ранен, лечился в Ярославле — он потерял легкое, одна нога стала короче другой на два сантиметра. У него было четыре брата и одна сестра. Про своего отца говорил, что тот умер от чахотки, вернувшись с фронта в 1942 году.

Сколько я помню отца, он был всегда

каким-то небольшим начальником. Очень любил читать, дома была хорошая библиотека русской и зарубежной классики. Интересовался иностранными языками. Много курил и умер в сорок три года после сердечного приступа.

В биографии отца много белых пятен. Особенно интересно его большое сходство с графом Алексеем Орловым, каким он изображен на портретах. Также поражает портретное сходство моего младшего брата с графом Орловым-Давыдовым.

С моей матерью отец познакомился в Ярославле на танцах. Ее происхождение тоже тщательно скрывалось, но позже выяснилось, что она происходит из старинного рода графов и баронов фон Корф, по материнской линии. Зато отец ее был простым крестьянином (он родился в 1889 году). Был участником первой мировой войны и все вспоминал, как Керенский ему на фронте пожал руку. После войны пятьдесят лет проработал на одном месте кондуктором, за что был награжден орденом Ленина.

После женитьбы на моей бабушке дед уничтожил все ее девичьи фотографии. Видимо, из страха перед репрессиями. В то время принадлежность к дворянскому роду была, как известно, чревата последствиями. Бабушка была 1898 года рождения. Спустя годы в разговоре со

мной она вспоминала, что по отцу она польская дворянка, а с матерью — Баронессой фон Корф — они приехали в Ярославль со стороны Бреста. В городе им принадлежал большой деревянный дом. Вспоминала про учебу в Ярославской гимназии.

После революции дом конфисковали, и бабушка оказалась в шестиметровой комнатке общежития, где чуть не умерла с голода. Там она встретилась с дедом, который спас ее от голодной смерти.

Мама родилась в 1925 году. Ее всю жизнь интересовали кино и театр, она знала все об артистах и их ролях, а проработала всю жизнь экономистом.

Будучи уже человеком зрелого возраста, в 1997 году, я случайно услышал по радио передачу, в которой рассказывалось о моей прабабушке — певице, урожденной баронессе фон Корф. Так подтвердились слова моей бабушки.

Глава 2

Однажды к вечеру дверь палаты открылась, и на пороге я увидел свою мать. Мы не встречались около года. Я жил отдельно и в мои личные дела никогда её не посвящал. Да она и не напрашивалась на доверительные отношения со мной. Мельком взглянув на больных, мать решительным шагом

направилась прямо к моей кровати. На ее лице не было ни сострадания, ни слабости — обычное лицо женщины с улицы.

— Ну, как ты себя чувствуешь? — небрежно спросила она. — Я от Светы, твоей бывшей, узнала, где ты. Вот и приехала проведать. Смотрю, тебе здорово досталось! Ну, ничего, переживем! Не в первый раз!

Потом она достала яблоки, апельсины и положила их в тумбочку у кровати. Спросила, где холодильник, и отнесла туда сало, которое я любил с детства.

— Ну, расскажи что-нибудь, — попросила она.

Я промычал что-то не членораздельное. Она не удивилась: видимо, врач рассказал ей о моем состоянии.

Стала рассказывать, как живет... Сообщила, что приехала со своим новым мужчиной, с которым познакомилась в доме отдыха «Харинка». Она туда ездила каждый год. Я всегда смеялся над этим странным названием — «Харинка», и шутил:

— Там что, отращивают хари?

И все смеялись.

После каждого возвращения из отпуска у нее появлялся новый «хахаль». Вспоминаю этих странных личностей. Один охотник несколько раз приходил с большим самодельным ножом «на

кабана» и всегда хвастался этим орудием; другой — слесарь с завода, приносил ей какие-то прокладки для крана, из которого так и продолжало капать. Он только разводил руками и обещал принести другие, но ничего не мог сделать. Зато он прекрасно играл на гитаре, и его было приятно слушать. Один мамин ухажер принес печатную машинку, и мой брат часто стучал по ее клавишам.

Мать рассказала, что из Воркуты приехала моя двоюродная сестра, которая тоже хотела меня увидеть. Я только слушал и моргал глазами. Потом мать заторопилась: ей надо было еще где-то устроиться на ночь, и пообещала зайти еще раз перед отъездом.

Меня лечили в Ленинградском военном госпитале на Суворовском проспекте. Это старое медицинское учреждение. Его главное величественное здание и внутри еще хранит красоту дореволюционного времени: белый мрамор, прямые большие лестницы, скульптура, огромные окна, витые чугунные решетки на лестницах. Кажется, что ты попал в музей.

Но таково только главное здание. Остальные отделения были постройки более поздних времен — это простые кирпичные сооружения без всякого внешнего и внутреннего великолепия. Только раненым предоставлялось красивое центральное здание — может быть, для того, чтобы как-то

скрасить последние дни их грешной жизни. Маленькие палаты смертников были рассчитаны на двух человек, и их жильцы там долго не задерживались. Одни уходили в мир иной, другие — в большие палаты для выздоравливающих. Смертность среди раненых была большая: если не успели сразу умереть на поле боя, то многие исходили в агонии за десять — пятнадцать суток после ранения. Раненые без рук и ног считались счастливыми судьбы; страшнее было получить ранение в живот и голову — тогда тебя ждет медленная, мучительная смерть.

Медперсонал госпиталя — это опытные военные врачи и медсестры. Они часто делают уникальные операции и вытаскивают с того света неизлечимых больных. Но, к сожалению, они не Боги!

Вспоминаю одного подполковника, начальника отделения, который при утреннем обходе говорил некоторым больным: «Надо же, с таким ранением, а живой — вон как поправился!» С этими словами он обращался к раненым, которых из-за бинтов не было видно, чтобы поднять их боевой дух и жажду к жизни. На меня он особого внимания не обращал. Говорил, что надо подождать, и я сам вылезу из гипса и повязок. В этом он оказался прав: примерно через месяц я освободился от многих медицинских украшений,

вот только от растяжек сразу не удалось избавиться — тяжелые были переломы.

В хмурый, дождливый день меня разбудила медсестра и сообщила, что ко мне приехала из Ярославля двоюродная сестра с мужем. Они (видимо, после Воркуты) заехали отдохнуть к себе на родину в Ярославль. К этому времени я стал уже почти членораздельно говорить, и мне было интересно увидеть своих близких родственников.

Флора, моя сестра, мало изменилась, немного пополнила. Я ее видел два года назад в Ярославле во время отпуска. Она мне демонстрировала, как хорошо живет: ела столовой ложкой красную икру из банки (а мне, между прочим, не дала попробовать). Флора закончила казанскую консерваторию, факультет музыковедения, и хотела работать преподавателем в музыкальной школе, но в Ярославле свободных мест не было, и она завербовалась на работу по этой специальности в Воркуту, где и прожила двадцать лет. Когда я увидел ее, то сразу вспомнил, какой она была в семнадцать лет. Вспомнил обычную девчонку с пышными светлыми волосами, которая только что окончила музыкальное училище и, чтобы выделиться из толпы сверстниц, таскала в руках толстый том «Дон Кихота», чтобы казаться умнее остальных. Меня это всегда смешило.

Увидев меня на растяжках, она пустила слезу,

потом быстро успокоилась и сказала: «Хорошо, что ты так легко отделался!» Я ей хотел сказать, что нет ничего хорошего в моем изуродованном теле. Но в моем мычании она мало что поняла. Стала рассказывать, что они с Вадимом, ее мужем, очень хорошо живут, что собираются в Сочи на отдых и по дороге решили ко мне заглянуть и поддержать морально.

Вадим, белобрысый мужик старше ее на восемь лет, с мешками под глазами от постоянной пьянки, ей во всем поддакивал. Он всю жизнь проработал в каких-то конторах. В общем, прожигал свою жизнь впустую. Ему нравился девиз «крутых» мужиков: пусть на моей могиле будет гора пустых бутылок и женских трусов! Что насчет бутылок, то так оно и получилось, а насчет женщин — сомневаюсь и даже очень. Я его ни разу не видел с незнакомыми женщинами: Флора крепко держала его при себе. Помню, как-то пришел домой к бабке, а Вадим с Флорой у нее ночевали. Вижу такую картину: Флора занимает середину кровати, рубаха съехала с плеч, большие белые груди разбросаны по ее дебелимому телу, а рядом, как щенок к матке, плотно прижавшись калачиком, тихо сопит Вадим. Вот так, калачиком, около Флоры всю жизнь и держался.

Сидя у моей кровати, Вадим стал врать, как он тоже несколько раз, разбивался, как чудом спасся

из горящего самолета, как падал без парашюта и так далее. Флоре надоело его вранье, и она грубо его оборвала. Скоро они ушли, а у меня осталось какое-то досадное чувство. Нахлынули воспоминания.

Флорина мать тетя Люся — старшая сестра моей матери — была неплохой женщиной, но страшной скрягой. Я помню, когда она приходила к нам в Ярославле и угощала конфетами, их невозможно было есть: старые — престарые. Их не только зубами разгрызть, но и молотком разбить было невозможно. Где она такие брала? Загадка! И это повторялось всегда. И только один раз она прислала из Германии, где ее муж служил офицером, хорошую посылку: скатерть и мне пару игрушек, таких красивых, что я запомнил их на всю жизнь.

Флора с моей бабкой всегда были в хороших отношениях, но до определенного момента. Меня бабушка не очень любила: я был грубым, озорным мальчишкой. Она часто говорила, имея в виду Флору:

— Мал золотник, да дорог!

Потом поворачивалась ко мне и бросала:

— Большая федула, да дура!

Я отходил подальше от нее и кричал:

— Мала куча, да вонюча!

Она очень обижалась на эту реплику.

Флора с бабушкой поссорились в тот момент, когда сестра окончила музыкальное училище и решила при помощи бабушки поступить в Московскую консерваторию. Дело в том, что у бабушки была жива еще ее мать, бывшая певица, которая лет пятьдесят преподавала в Московской консерватории вокал. Я не знаю, что произошло, но поступление сорвалось, и бабушка с Флорой, бывшие прежде хорошими друзьями, стали почти врагами. Потом сестра при помощи своего отца поступила в Казанскую консерваторию.

Такой чистоплотной женщины, как моя бабушка, я никогда больше не видел. У нее в квартире все углы всегда были вымыты до блеска, пылинки не найти под кроватью или в шкафу. Один раз я, не подумав, жестоко обидел ее в присутствии моего отца. Тот уронил какие-то монеты на пол, и они закатились под кровать. Конечно, меня заставили их доставать, на что я ответил отказом, сказав, что там пыльно, а у меня чистые брюки и белая рубашка. Как моя бабка возмущалась! Она сама полезла под кровать и белой тряпкой протерла все углы, а тряпка все равно осталась белой. Она со мной не разговаривала целых два дня, а пирога дала только маленький кусочек. Но я не был виноват, потому что привык видеть в нашем доме толстый слой пыли и под кроватью, и на шкафу.

Да, бабушка была чистюля! Она всегда

говорила нам, детям и внукам: «Я польская дворянка!» Но нас мало интересовало, кто мы: дворяне, крестьяне или мещане. У нас были другие заботы в жизни.

Только случайно, в девяностые годы, я услышал подтверждение слов бабушки. Она, и в семьдесят лет была эффектной женщиной, выше среднего роста, с величественной, статной фигурой, с классическими чертами лица и плавной походкой. Очень жалела, что дед в двадцатые годы уничтожил все фотографии ее детства и юности. Вспоминала себя наряженным ребенком рядом с гувернанткой, гимназисткой младших и старших курсов. Замуж за деда вышла из-за голода, после победы Советской власти. А дед был из простых крестьян.

Бабушка рассказывала, как жила до революции: у них был большой деревянный дом, огромная зала, слева — комната детей, справа — кабинет отца (он был каким-то крупным чиновником на железной дороге). Дети часто бегали к нему в кабинет за сладостями: около стола стояла горка на колесиках, на полках этой горки были разложены вазочки с конфетами и печеньем, а рядом стояли всякие бутылки с вином и коньяком. Эти картины детства так радовали мою бабушку, что, вдохновенно рассказывая, она будила во мне воображение и на моих глазах превращалась в маленькую девочку с косичками.

А деда за уничтожение всех документов о прошлом бабушки ругать глупо. Он спасал и свою жизнь, и жизнь своего семейства. Если бы кто-то узнал, что моя бабушка по отцу — польская дворянка, а по матери — немка, баронесса фон Корф, вряд ли им удалось бы дожить до старости и вырастить детей и внуков.

Мой дед был ярославским крестьянином, работал на железной дороге и снимал угол в большом доме моей бабушки. Интересна жизнь моего деда: он был участником первой мировой войны, лично здоровался с Керенским за руку. После войны устроился в Ярославле кондуктором — ревизором на железной дороге, где проработал пятьдесят лет; перед выходом на пенсию ему за долголетний труд вручили орден Ленина. Между прочим, этот орден его внучка Флора удачно продала и купила себе японский магнитофон, который в семидесятые годы был большой редкостью.

Мой дед был неплохим человеком, но меня, мальчишку — непоседу, он не очень любил, поэтому я редко у них бывал. Был у деда закадычный друг Костя, младше его лет на пять; они время от времени выпивали вместе — то у деда в садике, то у Кости во дворе. Несколько раз я был свидетелем, как деда приносили от Кости домой к бабке. И тогда начинались страшный крик и ругань,

и неясно было, кто начал первым. Но сказать, что дед был беспробудным пьяницей, я не могу! Он крепко выпивал, раз пять или шесть в год, не больше.

В последний год работы на производстве деду подарили патефон с набором пластинок. Он часто крутил ручку патефона, и тогда звучали военные и послевоенные, шуточные и лирические песни, русские романсы. Особенно мне запомнилась «Мишка, Мишка, где твоя улыбка?..» Когда приезжала в отпуск младшая дочка деда, тетя Тома, эту пластинку крутили каждый вечер. Мужа Тома, офицера, звали Мишей! Дед любил с ним выпивать на кухне и слушать свой патефон.

По соседству жила древняя девяностолетняя старуха, ее собаку тоже звали Мишкой. Старуха обладала очень громким голосом, и когда звала свою собаку, сама того не ведая, оскорбляла самолюбие моего деда и бабки. Им казалось, что это неуважительно по отношению к офицеру Мише, и они просили старуху не выкрикивать это имя, но соседка упорно сопротивлялась, и все заканчивалось большой руганью.

Однажды патефон исчез. Бабушка говорила, что дед его пропил, а дед просто отмалчивался. По воскресеньям дед и дядя Костя занимались коммерцией, то есть продавали всякий хлам, интересный только коллекционерам — то, что

сейчас называется антиквариатом — от значков до лампад. Для них этот день был праздником, особенно если удастся что-нибудь продать и собрать на бутылку вина.

Недалеко от дома деда и бабушки было Ярославское художественное училище. Как-то раз бабушку пригласили работать натурщицей. Когда она показала деду свои заработанные деньги, он не спал всю ночь. Утром погладил пиджак, закрепил свой орден и значки железнодорожника, навел «марафет». Утром в десять часов при всем параде он был уже в кабинете директора училища, а в десять пятнадцать уже материл бабушку последними словами, как будто та была виновата, что она обладала красивой внешностью, а он нет. А он так мечтал об этом заработке!

Мой дед обладал великолепным здоровьем: никогда не носил очков, читал свободно газеты, различая любой шрифт; в семьдесят один год удалил первый зуб, который случайно сломался, а остальные так и служили ему до последнего дня без единой пломбы. Никогда не курил; в шестнадцатом году, выкурил при отце сигарету «звездочка», получил по спине осиновым колом от родителя и забыл табак на всю оставшуюся жизнь. А умер неожиданно, ужасной смертью — от рака пищевода. Брат пригласил его на свадьбу своего внука. Дед приехал с опозданием, ему налили

стакан «первача» — очень крепкого самогона. Заставили, как опоздавшего, выпить залпом. Бабушка рассказывала, что он как выпил этот стакан, так минут пять не мог слова вымолвить: обжег сразу весь пищевод. Через три месяца его не стало. Вот так по-глупому ушел из жизни, а всем говорил, что доживет до ста лет, и дожил бы, если бы не этот случай.

У каждого своя судьба. Его старший брат ушел из жизни в девяносто восемь лет, всю жизнь выпивал в меру, но хорошо закусывал, и даже перед смертью, лежа на печке, выпил свою последнюю стопку и тихо умер.

Бабушка, напротив, всю жизнь простывала, кашляла, чихала, болела, пила массу всяких лекарств, потеряла все зубы в сорок шесть лет, носила очки после пятидесяти, а дожила до восьмидесяти семи лет. Вот такими были мои старики!

...Мать еще раз приехала меня навестить и привезла записку от моего младшего брата. Он служил в армии в стройбате, и после операции (аппендицита) ему дали отпуск на десять суток. Он приехал домой и все эти дни пил с приятелями «горькую».

У нас с братом не было теплых отношений, может быть, из-за разницы в возрасте в восемь лет. В отличие от меня, дед с бабкой в нем души не

чаяли. Он был очень красивым, спокойным и послушным ребенком. Его все баловали, кроме меня. Пинки и тычки были обычным моим разговором с ним. Если с первого раза брат меня не понимал, то сразу получал удар по шее и с криком «мама!» бежал жаловаться родителям, а если их не было — быстро со мной соглашался.

Помню, однажды родители ушли, а его оставили под мою ответственность. Я привел его во двор, где мы с приятелями играли в «разбойников» — лазали по чердакам, сараям и заборам. На чердаке он застрял в какой-то дыре, и я увидел, что к нему бежит здоровенная крыса. Я схватил его за шиворот и сбросил с чердака — он летел метра два, упал в песок, но не получил ни одной царапины. Это падение он запомнил на всю жизнь и часто меня за это упрекал. Я же старался, когда взрослых не было, воспитывать его по-спартански.

Еще брат мне напоминал о возвращениях из садика, откуда я его часто забирал после семи вечера. Мы всегда переходили дорогу, где было скоростное движение. До светофора идти было далеко, а напрямик — быстро, но опасно. Я рассчитывал движение автомобилей и быстро волок его за воротник пальто через дорогу. Он дико орал, а я грубыми пинками ускорял его движение. Дома он жаловался, я объяснял ситуацию, а родители молчали, не принимая ничью сторону.

И таких случаев было много, поэтому неудивительно, что у нас нет теплых отношений. Учился он средне, на «три» и «четыре». Ничем не выделялся среди своих друзей. После окончания восьми классов поступил в техникум, но, не закончив первого курса, бросил. Поступил в вечернюю школу и получил аттестат зрелости с одними тройками. Два года до армии безуспешно пытался поступить в институт.

И вот здесь его жизнь сломала: он первым делом возненавидел меня, потому что у меня все успешно получалось, а он ничего не мог. Возможно, я виноват в том, что с детства подавлял в нем личность, будучи сильнее и наглее его. Неуверенность в своих силах и болезненное самолюбие мешали ему реализоваться в жизни. Чтобы как-то утвердиться, он собрал шайку неудачников, которая занималась тем, что преследовала ребят, успешно устроившихся в жизни. К матери несколько раз приходили и грозили родители этих обиженных. Наконец, в какой-то пьяной драке ему проломили голову, поставили металлическую пластину. Эта операция и привела его в чувство. Он успокоился и, глядя на меня, стал заниматься искусством.

Я, невольно обижая брата в детстве, впоследствии реабилитировал себя: дал ему первые азы в рисовании, живописи, научил писать

натюрморты с цветами, что ему очень пригодилось в дальнейшей жизни. Но он потом всегда отрицал, что это я повернул его жизнь на сто восемьдесят градусов и сделал его художником. Я с ним не спорил, а просто отвернулся и дал ему возможность «вариться в собственном соку».

Так как в молодые годы мне пришлось заниматься боксом и греблей на каноэ, то его я пытался пристроить в спортивные секции. С боксом у него ничего не получилось — слишком труслив и слаб духом оказался мой братик. Он привык вдесятером одного ногами пинать — здесь надо драться один на один, а это оказалось для него страшно.

Зато в гребле на каноэ у него были хорошие успехи, он за два года сделал первый взрослый разряд и вошел в команду города. Ездил на крупные соревнования, правда, один не выигрывал, но в команде держался твердо и уверенно. Здесь он оказался молодцом!

Мастера спорта ему не удалось получить по глупой случайности. Я поругался с начальством гребной секции и ушел оттуда. Он последовал за мной, хотя я его и предупреждал, что он делает ошибку. Звание мастера спорта ему бы в жизни пригодилось и для солидности, и для поступления в институт. Зря, конечно, он меня не послушал! А с другой стороны посмотреть — быть тренером или

учителем физкультуры в школе не престижно, да и скучно. Куда приятней, если все знают, что ты художник или близко связан с искусством.

В то время была большая мода на иконы. И мой Вова занялся добыванием и продажей икон. Он ездил по заброшенным деревням, перекупал или воровал иконы из домов, а потом за хорошие деньги перепродавал их коллекционерам. У него появились интересные знакомые в этой сфере деятельности, от Ярославля до Москвы. Конечно, он «скользил по лезвию ножа», но успел до армии проверить несколько удачных сделок.

Дома он заменил всю свою мебель, купил приличную радиоаппаратуру, фотоаппарат, кое-что из тряпок. Но его вовремя остановила милиция. Просидев десять суток за какую-то провинность, он ушел из этого «бизнеса». Но не совсем! Иногда у него появлялись новые иконы; я не интересовался его жизнью, так как служил в армии. Тяга же к искусству, живописи у него осталась на всю жизнь — возможно, благодаря мне, возможно, благодаря генам наших предков.

Он потихоньку перебрался в Москву и женился. Потом развелся, часто менял женщин. Окончил курсы по искусству, получив специальность художника-оформителя. Удачно устроился на работу в «Мосфильм» и вот уже двадцать пять лет работает там, в должности

художника-оформителя и мальчика на побегушках, при этом иногда зарабатывает приличные деньги. Иногда мне кажется, что брат жаден, стал не в меру — видимо, тяжело ему достаются деньги.

...Это все в будущем, а сейчас он прислал мне записку, в которой желал, чтобы я скорей выздоравливал. И на том ему спасибо!

Меня в очередной раз перевели из одной палаты в другую, вернее сказать, перевезли! От одного врача к другому. Кое-что срослось, кое-что — еще нет. Одни растяжки убрали, у других изменили конструкцию, но на время оставили. Медсестра так же меня подмывала, как ребенка. Особенно мне нравилось, как это делали молодые девчонки: сначала краснели, дотрагиваясь до моего члена, а потом уже не обращали никакого внимания на мое «мужское достоинство». Месяца полтора и он на них не реагировал, зато позже реакция на эти прикосновения была необратима — он показывал себя во всей красе. Я сначала краснел, а потом просто отворачивался на время ежедневного осмотра и купания.

В палате нас было трое: я — в гипсе и на растяжках, старший лейтенант без одной руки и замотанной бинтами головой. Как я узнал позже, у него не было и глаза. В углу в белых простынях и бинтах утопал сержант, которому ампутировали обе ноги, а из низа развороченного живота выходили

какие-то трубки. Лица его я не видел, но стоны и матерные выражения по ночам слышал отчетливо.

К старшему лейтенанту два раза в неделю приходила высокая, красивая девушка, наверное, жена, и уводила его из палаты. В палате всегда было тихо: я не мог говорить, сержант не хотел, а старший лейтенант или читал, или уходил к своим друзьям в другую палату.

Однажды утром меня разбудил истошный крик: две женщины — молодая и старая, стояли у кровати сержанта и, обнимая друг друга, не плакали, а орали нечеловеческими голосами; около них суетилась медсестра. Запах нашатыря даже мне бил в ноздри. Я закрыл глаза, обматерил их про себя, что нарушили сон. Теперь снова надо искать удобную позу, чтобы на время забыться. Крики продолжались еще минут пять, потом девица убежала, а старая, стоя на коленях у кровати, прижимая его руку к губам, тихонько подвывая, что-то говорила своему изуродованному сыну — видимо, жаловалась на свою материнскую участь.

Такая сцена продолжалась около часа, пока не пришел врач и не выпроводил старуху из палаты. Старуха еще несколько раз приходила к сыну, а молодой я так больше и не видел. Калеки никому не нужны в этой жизни. Сержант этот промучился недолго: ночью упал с кровати — то ли случайно, а может, и специально. Его отвезли в операционную,

и мы его больше не видели — умер на столе. Его койка долго не пустовала, на ней «поселился» другой сержант, крепкий, веселый парень, тоже без двух ног, но он не собирался умирать. Мы узнали всю его печальную историю: был разведчиком, подорвался на «растяжке» — гранате. Сержант часто рассказывал анекдоты и сам же весело смеялся. Голос у него был грубый и резкий: чувствовалось, что команды солдатам он умел отдавать.

Ну а я, как говорится, «ни мычал, ни телился», а тихо лежал в своем гипсе и на потолке видел картины своей прошлой жизни.

Глава 3

В 1953 году мы переехали в город Омск, который располагается на берегу Иртыша и небольшой речки Омки. Город, в те годы, был довольно большим промышленным центром, улицы прямые, чистые, многоэтажные каменные дома располагались только по центральным улицам, а дальше были сплошные деревянные постройки.

В этот город ссылали людей в наказание и до революции, и в советское время. Ссылные 1920-30-х годов покупали и строили свои собственные дома — с размахом. У них были большие земельные участки. А ссылные 1940-50-х

годов ютились в деревянных бараках. Эти бараки, сначала одноэтажные, а потом и двухэтажные, занимали большую часть города.

Каменным строительством занимались, в основном, военнопленные немцы. Они построили и наш пятиэтажный кирпичный дом, что на пересечении улиц Маяковского и Пушкина. Недалеко от этого дома, ими же, было построено здание управления Северной железной дороги. Здание было очень красивое, облицовано серым гранитом. Там находились все отделы управления, в том числе и фабрика механизированного учета, которой руководил мой отец; чтобы попасть в кабинет отца, мне приходилось миновать вахту у входа, контроль первого и второго этажа, секретаря, заместителя, и только тогда я оказывался в большом кабинете с кожаным диваном, креслами и огромным дубовым столом. На нем располагались три черных телефона, большой письменный прибор с хрустальными чернильницами и масса всяких бумаг.

Наш дом еще сохранил запах краски свежего дерева. Все было сделано со сталинским размахом: высокие потолки, большие лестничные клетки. Мы занимали комнату в двухкомнатной квартире. Нашей соседкой была пожилая женщина с тремя дочерьми. Когда мы вошли в квартиру, одна из дочерей, юная девушка, сказала: «Какой красивый

мальчик!» Старуха тут же загнала ее в комнату.

В нашей комнате все было новое, светлое, чистое; паркет блистал светлыми породами дерева, большое окно привлекало своей белизной. Посмотрев на улицу, я увидел странную, удивительную картину: тихо позванивая бубенчиками, двигался караван верблюдов с тяжелой поклажей; погонщики были в тубетейках и халатах. Они ехали в сторону Казахского базара, который находился недалеко от нашего дома. Для меня такое зрелище было необычно, и я громко позвал родителей посмотреть это чудо. Вспомнил Московский зоопарк, где несколько раз видел этих животных.

Перед окнами нашего дома производилось строительство кирпичного дома, а дальше виднелись деревянные дома и огороды.

На соседней улице была моя школа — четырехклассное учебное заведение. Это было деревянное п-образное, одноэтажное здание. Двор был большим и пустынным, заросшим по краям лебедой и другими сорными травами. Ни одного дерева его не украшало. В центре была площадка для игры в футбол и волейбол, а также для общего построения школьников в хорошую погоду. С улицы был центральный вход в школу.

Здание школы, вероятно, ничем не отличалось от типичных построек в провинциальных городках.

В маленьком коридоре слева была дверь в учительскую, где находились учителя, завуч, директор школы и медицинская сестра. Из маленького коридора ученик попадал в большой, главным украшением которого были железные печи. Они стояли так, что одна половина была выдвинута в коридор, а другая — в класс. Печи обогревали одновременно всю школу. Дрова закладывал истопник со стороны коридора. Классные комнаты располагались по левую и правую стороны большого коридора, их было шесть. Так как школа имела п-образное строение, то небольшие помещения за углами тоже имели свое предназначение: в одном был первый класс и два туалета, в другом — складское помещение. Выход во двор был отдельный — за туалетами. Высота коридоров и классов была примерно два с половиной метра.

Каждый класс имел по два окна, так что света было вполне достаточно, чтобы ученикам не портить зрение. Классы были относительно просторны, в них помещалось по три ряда парт на двадцать учеников, стол учителя, доска — перевертыш: на ней можно было писать задание на одной стороне, а решение — на другой. Один учитель вел учеников с первого по четвертый класс и преподавал все предметы — от физкультуры до математики.

Размеры парт были разные: маленькие стояли впереди, а большие — сзади. Парты, в те времена, имели оригинальную форму: стол и сиденья были сращены снизу, крышка была с полезным для осанки наклоном, к тому же наполовину откидывалась, чтобы удобнее было вставать. Портфели убрали под крышку, на специальную полочку. Оригинальны были и чернильницы — непроливайки, содержимое которых было трудно случайно пролить; писали ручками со стальными перьями. Эти ручки клали в предназначенные специально для этого желобки, перья при этом осушали от чернил перочистками (это изделие из сшитых посередине маленьких тряпичных лоскутков).

Учителей школы и директора — абсолютно не помню, но зато на всю жизнь в памяти осталась первая учительница, которая вела все предметы с первого по третий классы, затем ушла на пенсию. Она хорошо знала свое дело, но с точки зрения психолога, ее и близко нельзя было подпускать к школе.

У этой учительницы были свои любимчики, и ученики, которых она просто ненавидела. Родители любимчиков на все праздники приносили ей дорогие подарки, а остальные отделялись дешевыми открытками.

Я был живым, любопытным и не очень

сообразительным ребенком; тискал девчонок, сцеплялся с мальчишками, учился ниже среднего. Моя мать не любила ходить в школу, а когда учительница ругала меня за плохую учебу и поведение, мать говорила: «Не справляется — оставляйте на второй год!» Но та меня переводила из класса в класс с одними тройками, вдоволь поиздевавшись надо мной. Ей доставляло большое удовольствие дать мне какое-нибудь задание, которое я не смогу выполнить один, и отправить за доску-перевертыш. Я один на один оставался с черной доской. В конце урока она переворачивала доску и, видя, что сделано все неправильно, начинала надо мной насмехаться перед всем классом. Так она делала меня посмешищем перед ребятами и девчонками.

Таких, «мальчиков для битья» было у нее человека три, и мы попеременно играли на уроках роль шутов. Особенно мне запомнились уроки математики в третьем классе, где я никак не мог понять решение задач о бассейнах и трубах с водой; о поездах, которые едут из пункта А в пункт Б и где-то в пути встречаются. Дома от моей учебы все отстранялись, только ругали, а в школе никак не могли вбить мне в голову эти истины...

Так как я был физически сильным ребенком, мальчишки насмехались надо мной не открыто, а за спиной. Если кто-то пытался оскорбить меня, то на

перемене я его вызывал на поединок, и мы дрались в рыцарском духе, один на один. Бои проходили в туалете, помещении — десять квадратных метров. В туалете всегда было чисто вымыто, стены, и пол покрашены коричневой краской и всегда блестели.

По физической силе я почти всех превосходил в классе, так что в драке редко кто мог меня победить, не считая второгодников или третьегодников: один-два человека всегда «застревали» на год-другой. Но это были в основном добродушные увальни, которых ничто не интересовало, кроме самих себя.

В третьем классе всех приняли в пионеры, кроме меня. Я оказался не достоин, носить красный галстук из-за плохого поведения и учебы. Мне было очень стыдно выходить из школы без галстука на груди. Мать, которая присутствовала на этом собрании, быстро взяла меня за руку и отвела домой. Первый и третий классы оставили в моей жизни самые неприятные воспоминания: дома я был никому не нужен — меня только кормили, одевали и хвастались перед всеми: какой красивый ребенок! В школе — издевались. Спасала только улица, где я быстро нашел свое место. Я был сильнее и отчаяннее многих ребят, поэтому меня уважали и боялись. Мое слово во дворе было всегда законом: «Орел» сказал — против него не попрешь! Мальчишки постарше были моими друзьями,

иногда помогали мне наводить «порядок» во дворе. А школа была той занозой, которая портила мне жизнь.

В школе мне нравилось несколько девочек, за которыми ухаживал по-своему: дергал за косички, показывал непристойные жесты, отбирал сладости. Это заметила моя учительница и попыталась вразумить меня: вызывала мать, ставила в угол, стыдила меня перед классом. Так мы с ней противостояли друг другу целых три года. Последнюю неприятность учительница мне сделала в последний день окончания третьего класса. Она громко, на весь класс произнесла: «На второй год остаются: О...О...О...» — и при этом внимательно смотрела на меня, как, впрочем, и весь класс. Насладившись неизвестным «О...» и сделав большую паузу, закончила: «О..О...Озеров!» За эти пять-десять секунд, пока она тянула злосчастное «О», у меня, девятилетнего мальчугана, в голове промелькнуло много страшных мыслей: «Что делать?! Надо кончать жизнь! Мне не пережить такой стыд! Или броситься под машину, или утопиться, или выброститься из окна!» Но, когда была названа фамилия «Озеров» — второгодник или третьегодник, которому было все равно, — я вздохнул с облегчением, мир зажегся всеми яркими красками, которые притягивали меня, — жизнь продолжалась!

Перейдя в четвертый класс с одними «тройками» и с отрицательной характеристикой, я получил новую молоденькую учительницу и абсолютно новый мир. В начале четвертого класса меня приняли в пионеры, учеба выровнялась, и я учился теперь на твердые «тройки» и «четверки», а по физкультуре и рисованию — на «пятерки». Хулиганом на улице был по-прежнему, но в школе уроков никогда не пропускал. Не знаю, почему теперь так тянуло в школу? И уроки всегда делал исправно. Чтобы повысить свой авторитет во дворе, я взял тетрадь знакомого отличника, поменял его фамилию на «Орлов», и всем показывал — какой я умный! Авторитет только рос!

Мне часто вспоминается первая учительница: почему она так себя вела? Это была крупная женщина с черными поседевшими волосами и властным лицом. Однажды, я помогал переносить ей подарки из школы домой. Она жила в большом общежитии с длинным и темным коридором. Слева и справа вдоль коридора располагались комнаты, одна большая кухня с керосинками и один туалет. Комната, метров шестнадцати, была чистая, вполне уютная, убрана с какой-то кокетливостью: всюду была вышивка, кружева, тряпичное плетение, как в музее народного искусства.

Но меня больше всего поразил муж учительницы. Он был темноволосый, маленького

роста, неприятными показались его глаза, они как будто буравили все вокруг, жгли, как горящие угли. Говорили, что он преподавал математику в институте. Их с женой выслали из какого-то крупного города в начале пятидесятых годов.

Меня всегда удивляло, почему все-таки она не оставила меня на второй год? Возможно, здесь две причины. Первая — разрешалось оставлять только двух учеников; вторая — мой отец был начальником, пусть и не самым большим, и это ее испугало! Хотя второе маловероятно: над нами жили Чикины — отец и сын, друзья моего отца и тоже какие-то начальники. Их дочку в третьем классе оставили на второй год; она была очень ленивая, но красивая девочка!

Все ребята из соседних барачков всегда крутились около этой девчонки. В будущем у нее была масса поклонников. Один из них, крупный парень, который всегда был рядом с ней, мне запомнился тем, что мог смастерить любую игрушку. Он делал великолепные самокаты из дерева и подшипников, которые на асфальте развивали приличную скорость, но страшно шумели. Посмотрев фильм «Чапаев», этот парнишка сделал из дерева очень похожий пулемет. Жалко, что такой способный парень жил в жутких условиях. Бараки, где он обитал, пугали нас регулярно по субботам и воскресеньям: пьянки,

страшные драки, поножовщина. Там всегда дежурила милиция, но никто ее не боялся.

В таком бараке на втором этаже жил мой одноклассник с матерью. Представьте себе: утепленный сарай, разбитые нижние двери, стужа, сквозняки; окна закрыты фанерой, туалет почти на улице, зимой каловые массы закрывали почти все его пространство — жуткая картина. Кухни нет, вода — из колонки, надо таскать с улицы; большая помойка, с сильным хлорным запахом, занимала большую часть двора. Комнаты — крохотные, по восемь и десять метров — зимой промерзали, маленькие печки едва их спасали. В таких условиях жили в Омске шестьдесят процентов людей. Мой приятель был добрым мальчиком, я его хорошо запомнил играющим в куче песка во дворе, когда он изображал собой машину — грузил песок в свои трикотажные трусы и, подражая звуками рокоту мотора, возил из одной кучи к другой. Вскоре его не стало — он утонул в Иртыше: купался с ребятами, нырнул, и его затянуло течением под баржу. На Иртыше летом погибало много детей.

Наш дом строили военнопленные немцы, он был угловым зданием на пересечении двух улиц. Это было солидное сооружение «сталинской» эпохи. Внешне он смотрелся красиво и монолитно. Коридоры, лестничные проемы были большими и удобными; туалет и ванная — отдельные; окна —

светлые, но жилые помещения — небольшие. На кухнях чадили керосинки, примусы и грелись электрические плитки. Центр кухни занимала большая кирпичная печь с духовкой, но ее разжигали редко. Батареи — радиаторы из чугуна — грели дом исправно. Правда, где была котельная, я не помню! Но зимой, в сорокаградусный мороз, было приятно сидеть на широких подоконниках и горячих батареях. Мы даже пытались на них отогревать замерзших воробьев — их собирали во дворе под кустарником. Помню, наберешь их по десять штук, разложишь на чугуне батареи и ждешь, когда они оживут. Но, ни одна птица не вернулась из морозного плена...

Зимой я часто терял рукавицы, и мой отец с гордостью говорил своим друзьям, что его сын легко обходится без них, даже в самые студеные морозы. Но пальцы мерзли, а я потом всю жизнь не мог переносить холод в руках, даже не носил перчаток: только варежки согревали отмороженные пальцы.

Наш двор был открыт для всех — это была большая площадка, обсаженная мелким кустарником и закрытая чугунной вязью невысокого забора. В центре двора — деревянная горка, которую часто ломали летом, а зимой снова ремонтировали, и две песочницы с грибками и речным крупным песком. Там также размещалась

волейбольная площадка, пара скамеек из чугуна и наспех сбитый, но крепкий стол для игроков в домино и карты. В летние дни там устраивались настоящие баталии, и желающих сесть за стол было много, любители занимали очереди. За столом стучали костяшками домино и бывшие «зэки», и начальники как мой отец. Вспоминаю, как кто-то из жителей дома издал какую-то книгу, и все с гордостью показывали пальцами на окно, где живет этот писатель.

Но были жильцы, которые никогда не сидели за этим столом: это начальники управления, два полковника, прокурор и два — три партийных босса. Начальник управления Северной железной дороги был маленький, седенький старичок-армянин, он был прислан из Москвы. Каждое утро за ним приезжал огромный серый «Зим» и отвозил на работу, хотя до управления было всего шестьсот метров. Раза два-три и мне, ребенку, удалось прокатиться на этой шикарной машине с внучкой начальника — маленькой, очень живой девочкой, приехавшей к деду на лето.

За детской площадкой находилось много сараев, где жильцы хранили дрова и уголь, и деревянный склад продовольственного магазина, который находился на первом этаже нашего дома. Мы, мальчишки, очень любили играть на ларях и крышах этих сараев. Так было здорово бегать в

догонялки по деревянным дорожкам, не касаясь земли: прыгать с крыши на крышу, с крыши на лари и доски, специально положенные на землю. Все эти физические упражнения развивали тело и дух.

В конце октября из Китая привозили большие ящики с яблоками; и тогда начинались в нашем дворе бои на шпагах, сделанных из досок этих ящиков. Некоторые ухитрялись делать полный комплект рыцарских доспехов из толстого картона и тонких дощечек. У меня было несколько деревянных шпаг, но их жизнь была коротка из-за частых боев. Особенно преуспевал в фехтовании мальчишка, который жил над нами. Он где-то в кино подглядел приемы в боях на рапирах, и, никому не показывая их, выигрывал все схватки, первым нанося точные уколы. Сколько раз я пытался у него выиграть — все безрезультатно! Мальчишка хитро пугал противника первым ударом, а потом спокойно наносил удар в грудь или живот.

Но в беге и в борьбе, для своего возраста, я был самым сильным. Бывали случаи, что побеждал и старших мальчиков. Сколько таких боев я выдержал в детстве — не сосчитать! У нас не было принято драться группой против одного. Всегда по рыцарски — один на один. Двое дерутся, а группа ребят стоит и смотрит. Иногда, правда, помогают, но это в очень редких случаях. Так, с одним

мальчишкой мы дрались пять лет подряд, начиная со второго класса. Каждую весну весь двор готовился к моему бою. Ребята за моей спиной договаривались, где и когда будет драка, потом приходили ко мне, и мы вместе шли в сад управления; физически я был сильнее, поэтому, захватив противника за корпус, бросал на землю. Все же в ловкости и знании приемов он был лучше, и на земле ему удавалось вывернуться и положить меня на лопатки. Но не всегда. Иногда я выигрывал. Бой был с переменным успехом: год — он на мне, год — я на нем! Но последний бой выиграл он. Я, как всегда, бросил его на землю и сел на грудь — победа, казалось, была моя. Но ногами он захватил меня за шею и перевернул. В момент падения я сильно ударился головой о камень, и, пока соображал, что случилось, он оказался наверху, и все признали его победителем. А я, в плохом настроении и с большой шишкой на голове, один поплелся домой.

Были частые драки и с мальчишками из других дворов. Однажды, мы с приятелем пошли кататься на плотках в пруду, что недалеко от школы. Только устроились на плоту — пришли из соседнего двора два парня, старше нас. Так как я был здоровее моего приятеля, то первым обезвредили меня: получил два удара по шее и весьма ощутимый пинок сзади. Мы еле вырвались

и, обиженные и обозленные, убежали к себе во двор.

Около дома нам повстречался мой старший приятель — Славка Скаль, крепкий парень, четырьмя годами старше меня. Я ему пожаловался на обидчиков. Славка, недолго думая, предложил мне проучить этого пацана. И мы с ним вдвоем снова пошли на пруд. Наши обидчики катались на плоту, но, увидев нас, смело причалили к берегу; После словесной перепалки началась драка: Славка и парень били друг друга по лицу кулаками, и не один не отступал. После десятисекундного боя парень «сломался» и, зажав окровавленный рот, перестал сопротивляться. Славка победил! Такого жестокого боя среди детей, я до этого ни разу не видел. Мне было десять-одиннадцать лет, а Славке — тринадцать-четырнадцать. У меня до этого случая было несколько стычек со Славкой, но не таких «кровавых».

Самое интересное было впереди. Только мы победителями явились во двор — встречаем еще одного моего приятеля, Лешку, здорового малого, старше меня года на три-четыре. Узнав о нашей драке, он загорелся желанием отомстить моим обидчикам. И мы с ним вдвоем снова пошли на пруд. Мой обидчик сидел на берегу со своими приятелями. Лешка бросился в бой первым, и... началось просто избиение. Удары от Лешки

сыпались и руками, и ногами, — его противник с разбитым лицом стоял на коленях. На него было страшно смотреть. Невольно, я проникся к нему уважением: получил такую «трепку» — и ни одного слова о пощаде, он, молча, принимал удары. Позже, несколько раз я встречал этого парня, но он делал вид, что меня не знает.

Вдруг я увидел приближающуюся к нам компанию взрослых — они уже были метрах в ста от нас. Я крикнул Лешке, и мы бросились наутек. Человек десять некоторое время бежали за нами. Но у нас было преимущество: страх и расстояние, поэтому нам удалось скрыться.

Во дворе мы, дети, жили, как одна семья, в которой часто бывали перебранки, драки, ссоры, но чужаков к себе не подпускали. Двор — это особый мир, государство в городе. Пусть это детское государство — оно остается с тобой на всю жизнь. Там люди рождаются, становятся подростками, взрослыми, и оттуда их увозят на вечное поселение — на кладбище.

Моя первая любовь тоже родилась в нашем дворе. Это было в третьем-четвертом классах, мне тогда нравились три девочки сразу. Одна из них — Рита, высокая девочка с длинной, толстой косой. Она занималась музыкой — игрой на виолончели, мне отвечала взаимностью и в школе, на переменах, долго смотрела в мою сторону, но, ни я, ни она друг

к другу не подходили — стеснялись.

Вторая, Галя, была дочерью судьи. Она жила на втором этаже; по ее окнам я часто стрелял из рогатки, чтобы она выглянула. Из-за нее я был участником многих драк, одержал много побед над своими соперниками. Она была старше на один год и не замечала моей влюбленности.

Третья девочка жила в пятом подъезде, на втором этаже. У нее были очень красивые глаза и ресницы, большие, как у актрисы в кино — все мальчишки нашего двора были в нее влюблены, ну и я тоже. Мы сидели на горке в центре двора, смотрели на ее окна и спорили: на кого она посмотрит, если выглянет. Вот такая у меня была детская дворовая любовь...

Запомнилась и первая встреча с искусством, которая произошла в четвертом классе: из Дома пионеров пришла руководительница хора для подбора ребят с красивыми голосами. Прослушивали всех желающих на уроках пения; дошла очередь и до меня. Когда я открыл рот, она сразу сказала: «Иди, мальчик, погуляй, не задерживай других!» А моего приятеля, Валерку Соловьева, пригласила в хор. Валерка две недели ходил гордый, пока не сбежал от ее занятий.

В железнодорожном управлении открыли детскую музыкальную школу, и мы, ученики третьих и четвертых классов, толпой пошли

прослушиваться на наличие музыкального слуха. Меня снова попросили «пойти погулять», а Валерку опять приняли, и он три месяца играл на балалайке: на баян у них не было денег. Вскоре он бросил и эти занятия — надоело.

Рита, моя первая любовь, училась играть на виолончели сначала в школе, потом в музыкальном училище, закончила Ленинградскую консерваторию и стала профессиональным музыкантом. Вот, что значит терпение и труд!

С Валеркой Соловьевым у меня было много казусных и интересных моментов. Однажды, в мае, мы играли во дворе битой. Били по монете, и если она переворачивалась, то ты выиграл. В какой — то момент Валерка схватил меня за рукав и тихо сказал: «Пойдем, покажу что-то интересное!» Я был заинтригован, и мы направились в конец двора к зарослям травы, подошли очень тихо. За кустами увидели любовную парочку: парня лет двадцати и девушку лет восемнадцати. Парень, как видно, был очень опытен в любовных утехах, так как в течение десяти минут переменял столько любовных поз, что их разнообразия мне хватило на всю последующую жизнь. Все мои партнерши были всегда довольны. Через некоторое время парень нас заметил и пригрозил кулаком — мы сразу же убежали. Я был доволен, что получил такой важный жизненный урок, о котором никто не расскажет, храня свое и

наше целомудрие. Хотя ночные скрипы старой железной кровати моих родителей давно подсказывали, что люди разного пола не зря живут вместе и что от этого появляются дети. Все разговоры и рассматривание замызганных фотографий с обнаженными женщинами никогда не научат тому, что ты сам один раз увидишь. Только Валерка Соловьев, после такого яркого сексуального урока, ничего не понял и даже в тридцать лет не имел связи с женщинами.

Трагикомический случай произошел на наших глазах около школы. Улица тогда была покрыта не асфальтом, а булыжником, ее мостили еще до революции семнадцатого года. Она такой и оставалась до начала шестидесятых годов. Прошел дождик, и камни стали скользкими. Через дорогу, на зеленый свет, переходила первоклассница с огромным кожаным портфелем. Вдруг из-за поворота выскакивает старый грузовик, и то ли у него отказали тормоза, то ли водитель уснул за рулем, но он наехал прямо на эту школьницу! Мы с Валеркой находились в десяти метрах от машины и видели, как колеса, ударив по портфелю, сбили девочку, и она каким — то образом оказалась на портфеле. Автомобиль пять — шесть метром таранил портфель и сидящую на нем перепуганную школьницу. Кругом поднялся крик, и водитель дал резкий тормоз. С перекошенным от страха лицом

он выскочил из кабины и увидел под колесами портфель и на нем бледную, онемевшую ученицу. Водитель был молодым парнем, но если бы ему было лет тридцать пять-сорок, он точно получил бы инфаркт. Такую ужасную картину, но со счастливым концом, все надолго запомнили.

Нечто похожее я видел в семидесятые годы зимой, когда озверевшая толпа рвалась в единственную дверь троллейбуса. Одна женщина упала, и голова ее оказалась у колеса троллейбуса. Дорога была обледеневшая, колеса крутились на одном месте, а в нескольких сантиметрах находилась голова; женщина не кричала, а была в каком-то трансе: глаза смотрели куда-то, но ничего не видели. Наконец, колеса остановились, и ее вытащили из-под троллейбуса. Можно сказать, и та и другая заново родились.

У Валерки мать работала телефонисткой в управлении на четвертом этаже, а моя мать — оператором машин на третьем, поэтому мы с ним часто ходили в обеденный перерыв к нашим родителям. Столовая находилась в подвале. Такое обилие булок и пирогов можно было встретить только на картинах старых мастеров в Эрмитаже или Русском музее. Несколько столов плотно приставлены к стене, около них движется вереница людей к кассе. А на столах горы из хлеба — такого живописного вида, что, став художником, я не раз

изображал эту картину. А каков запах свежее испеченного хлеба! Да, детство наградило и приятными воспоминаниями.

С Валеркой мы ходили на праздники, получали подарки. Память хранит дружбу с ним, хотя близкими друзьями мы не были. Он был тихий и застенчивый, очень гордый — не любил принимать помощь от школы или от знакомых. Хотя его матери было очень трудно: она одна воспитывала двух мальчиков. Я, наоборот, был забияка и драчун, Валерке от меня часто доставалось. Все приемы борьбы, какие мне показывали мои приятели с улицы, проходили через Валеркино тело, которое плюхалось или на пол, или на мой диван.

В новогодние праздники мы с ним, сидя за столом, рисовали Деда Морозов. За вечер ухитрились нарисовать по десять — пятнадцать штук. Потом приходила его мать, хвалила за рисунки и отправляла меня домой. Они жили в четвертом подъезде, а я — в третьем.

Однажды Валерке подарили серого пушистого котенка. Он очень гордился этим красивым созданием. Мне стало завидно, и я упросил родителей привести в нашу комнату дворового пса. Отец сказал, что если я буду учиться на «четверки», то это возможно. Но на другой день я получил «двойку», а пес обгадил весь коридор и изгрыз

туфли отца, за что и получил пинок под зад. А Валеркина кошка долго у них не прожила: она подавилась костью и умерла — ветеринаров у нас тогда не было рядом.

В соседнем дворе знакомого мальчика приняли в Суворовское училище. Когда мы с Валеркой увидели его красивую форму — черную с красными лампасами, то тоже захотели стать суворовцами. У этого мальчика отец потерял на войне обе ноги, поэтому его через военкомат устроили в училище. У Валерки отца по документам вообще не было, а про своего отца я решил сказать, что он инвалид.

В военкомате дежурный нам битый час объяснял, что в Суворовское училище направляют только через районный исполнительный комитет, и дал целый список документов, которые надо оформить в разных инстанциях. Мы были очень разочарованы и вскоре потеряли этот список. Так суворовцами мы и не стали. Но мой отец с гордостью говорил знакомым, как я без чужой помощи ходил в военкомат и пытался устроиться в Суворовское училище.

В третьем и четвертом классах я дружил с Генкой Бояркиным, который жил в нашем подъезде на пятом этаже. Он был одного со мной возраста и физически очень сильный, но страшный трус. Генка преклонялся перед всеми, кто был наглее или

активнее. Я не видел, чтобы он дрался или хотя бы ссорился с кем-то. Генка всегда был в стороне и занимал позицию молчаливого наблюдателя, а если его серьезно затрагивали, то просто ревел, и от него сразу отступали.

Может быть, он смог бы стать по-настоящему сильным, но отец сделал все, чтобы изуродовать его внутреннее «я». Когда сын из школы приносил «тройки», отец шлепал ладонью по его заду или давал подзатыльник, а если «двойки», то начиналась настоящая порка старым офицерским ремнем. Генка менялся в лице даже при виде этого ремня, а если его били, терял человеческий облик и походил на затравленного зверька, попавшего в зубы матерому хищнику. Меня отец тоже порол ремнем, но я знал, что это заслуженно, поэтому старался терпеть и особенно не расстраивался. Наши отцы считали, что так требуется для воспитания, но, как показала жизнь, они глубоко ошибались. Воспоминания об этих моментах всегда отравляют мне память об отце, а из Генки они сделали раба перед наступающей силой. И если я на силу отвечал силой, то Генка на силу мог ответить, увы, раболепством и подхалимажем.

Отец Генки был каким-то партийным работником в Управлении. На фронте — старшиной в роте разведчиков. В праздники на его груди блистали ордена и медали. Словом, был

заслуженный вояка. Всю жизнь стремился вырваться вперед, но не хватало образования. Закончил только четыре класса сельской школы и Высшую партийную школу при Горкоме КПСС. Он умел то грубостью, то лестью добиваться своего. Последняя его должность — глава Центрального района города Омска. Прожил большую жизнь — восемьдесят семь лет, но за эти годы переломал столько судеб людей, что даже страшно подумать. Когда он встречался с моим отцом, имевшим тяжелое ранение после войны, то всегда посмеивался, что тот не имел ни одной медали.

У моего отца в Кремле были связи, и Генкин отец, узнав об этом, всячески старался ему понравиться. Я однажды услышал, как отец говорил матери о Боркине: «Страшный человек. Карьерист! Надо от него держаться подальше!» Боркин с моим отцом вначале первый здоровался, льстиво разговаривал, а потом, ничего не получив от него, отвернулся и не замечал.

Нехватку своего образования он старался с лихвой возместить в сыне, сделав его первым человеком в научном мире города Омска. Генка окончил школу с серебряной медалью, поступил в технический институт. После его окончания, с помощью отца, закончил аспирантуру, защитил кандидатскую и докторскую диссертацию, получил «профессора»; в науке ничего не сделал; скромно

умер в сорок девять лет. Отец устроил ему всю жизнь, женил и похоронил. Неизвестно, как бы сложилась его жизнь без влияния отца.

С Генкой у меня был интересный случай в пионерском лагере. Мои родители, чтобы отдохнуть от меня, на все лето устраивали в хороший пионерский лагерь в городе Ишим. Природа там была просто великолепная, лагерь находился в сосновом лесу, рядом речка, озера, сопки, в июле было много ягод. О такой красоте можно только мечтать.

Было одно «но» — ишимские ребята, а их было подавляющее большинство, — они всегда находились во вражде с омскими подростками. Я три года ездил в эти лагеря, и каждый сезон заканчивался драками. Мне доставалось больше всех, так как я первый лез в драку и не прощал никаких оскорблений в свой адрес. Генка в этот лагерь приехал в первый и последний раз, со всеми ишимскими ребятами передружился, из-за страха быть побитым. Он здоровался, с ними за руку, льстиво улыбался, и ему сказали, что в последний день смены его бить не будут: Генка стал их другом. Меня же, наоборот, обещали «отметелить» по первое число.

Так оно и вышло: за два дня до окончания смены мы с Генкой шли из столовой, а в уединенном сквере нас ждала группа «ишимцев» из

десяти-двенадцати человек. Бежать не было смысла, и я сказал Генке: «Закрой мне спину. Отобьемся!» У «ишимцев» не было здоровых ребят, а мы были и выше, и сильнее. Генка как-то спокойно мотнул головой в знак согласия. Я, недолго думая, первому врезал в челюсть — он упал, следующего ударил ногой — он отскочил; с третьим сцепился «намертво» и повалил. На меня сверху навалилось человек пять, подо мной оказались двое, и пока я их бил, пять человек сверху «дубасили» меня. Так продолжалось минуты две, пока драку не разогнал пионервожатый. Я вскочил, весь истерзанный и грязный, вижу: Генка стоит в стороне, наблюдает за происходящим. Он не дрался, а спокойно наблюдал, как меня били. Когда я во дворе нашего дома рассказал об этом ребятам, Генка устроил истерику со слезами и криком, все отвернулись от него и не разговаривали около месяца.

Друг с другом во дворе мы тоже не очень церемонились: почти каждый день кто-нибудь кого-нибудь под горкой или за кустами «дубасил». Мне тоже часто доставалось от старших приятелей.

Однажды, играя в песочнице, я отобрал машинку и ударил мальчишку младше меня — это был брат парня, который помогал мне у пруда. Сначала я забеспокоился, но мой старший приятель на это не обратил внимания. На другой день я

встретил во дворе их отца — крупного мужчину без руки — он потерял ее на фронте. Этот человек, молча меня, остановил и так посмотрел в глаза, что я от страха сжался в комок. Потом он отвернулся и ушел.

Эту встречу я помнил долго и мальчишку обходил стороной. Не знаю, почему его отец-фронтвик ничего мне не сказал: или увидел мой страх, или вспомнил, что он и его жена работали на фабрике под началом моего отца. Но мужик был решительный и смелый. Я во дворе слышал о том, как он получил трехкомнатную квартиру на семью из семерых человек. А мы в это время жили в одной комнате двухкомнатной коммунальной квартиры.

Дело было так: когда распределяли жилье в новом доме, он пришел на собрание управления, закрыл за собой дверь, достал топор, показал орден Красной звезды и сказал:

— Я уже пять лет мотаюсь по баракам — дети болеют, жена заработала туберкулез. Я инвалид войны. Если сейчас не дадите ордер на квартиру — всех вас порубаю. А там будь что будет!

Собрание сразу согласилось с его доводами, и выдали ордер на трехкомнатную квартиру. Но в новой квартире герой прожил всего четыре года, так как умер в сорок лет от обширного инфаркта.

В четвертом подъезде нашего дома жили еще

два моих приятеля, Мишка и Игорь, оба из семей военных.

Мишка был крупным белобрысым парнем. У меня с ним часто возникали стычки, из которых я выходил победителем. Его мать не стала жаловаться моим родителям, а подговорила парня из соседнего двора, чтобы тот меня побил. Парень был старше меня года на два и, хотя с детства хромотал на одну ногу, был сильнее меня. После того, как я, поверженный и весь истерзанный, сидел в снегу и ревел, он пошел в квартиру Мишки. Позже я узнал, что Мишкина мать накормила его разными пирожными, дала шоколад и много всяких конфет.

Через неделю мы забыли все ссоры и мирно играли вместе во дворе, забегали домой друг к другу. Мне запомнилось убранство Мишкиной квартиры: я был поражен красотой мебели красного дерева в стиле модерн (как узнал позже). Одежда у них была красивая и дорогая: кожа, вельвет, шелк. Интерьер тоже очень впечатлял: на стенах висели дорогие картины в старинных рамах, а на подставках-тумбочках располагались проигрыватель и приемник. И все это, оказывается, было немецкое.

Мишка рассказывал, что его отец во время войны восстанавливал железные дороги и мог беспрепятственно вывезти из Германии любые вещи. Мужик, чувствуется, был не промах: видимо,

обчистил какую-то богатую немецкую квартиру. Мишка был светловолосый крупный парень — похож на немца, и мы часто смеялись, что отец и его тоже вывез из Германии. Он обижался, говоря, что похож на мать. Она была высокой белокурой женщиной, а отец, напротив, был маленьким, толстым человеком с глубоко посаженными колючими глазами.

Странная была семья! Когда попадал к ним в квартиру, ее красота сначала восхищала, а потом начинала давить, и хотелось уйти на свежий воздух. Летом мы сильно завидовали Мишке: у него было два спортивных велосипеда иностранной фирмы. Такие велосипеды у нас в стране появились в девяностые годы, но тогда, в шестидесятые, это была редкость в нашей советской жизни.

Мне больше нравилось ходить в гости к другому приятелю — Игорю. У него был добрый отец, всегда предлагал сладости и расспрашивал о жизни и учебе. Там я всегда чувствовал себя раскованно. Обстановка квартиры была простая — светлый мебельный гарнитур советского образца. Игорь мне запомнился как честный, крепкий парень. Он часто помогал мне в уличных стычках.

Однажды, я сделал из железного детского пистолета оружие, которое стреляло пулей: набил его порохом, зарядил и предложил Игорю опробовать в действии. Тот сразу согласился, но я

его отговорил и предложил не нажимать на курок, а сделать пороховую дорожку к отверстию в стволе и поджечь порох — тогда и произойдет выстрел. Пуля была настоящая: их мы собирали на стрельбище в военном училище. После того, как мы спрятались за камнями, я поджег порох, и через две-три секунды прогремел выстрел. От пистолета осталась только ручка, а все остальное разнесло. После этого я испугался проводить подобные эксперименты, а Игорь был готов к ним всегда. Смелый был парень! Во дворе все его уважали. Жалко, что в нашем доме они прожили недолго и скоро переехали в другой город.

Впервые интерес к рисованию у меня проявился еще в четвертом классе. В нашей комнате я сделал что-то наподобие мастерской художника, где находился мольберт, сделанный мною, лежали доска с бумагой, карандаши, кисти и акварельные краски. С большим азартом рисовал две недели. Родители не мешали, но и не поддерживали меня. Им не очень нравилось, что я занял часть небольшой комнаты.

Вскоре, мое рвение утихло, и мастерская прекратила свое существование. А вместо нее на ящиках, обтянутых красной материей, появился новый телевизор «Рекорд». У Боркиных был «КВН», экран которого был меньше нашего в четыре раза. А у Мишки и Игоря был телевизор

«Темп», экран которого был больше нашего в два раза. Вот так мы и хвастались друг перед другом. Когда у нас не было телевизора, мы с Валеркой Соловьевым ходили смотреть телевизор в «Красный уголок», на работу к родителям. Отец писал записку — разрешение на вахту, и нас пропускали по воскресеньям смотреть детское кино и мультфильмы.

Наш телевизор показывал очень плохо, антенный сигнал был слабый. Домовых антенн тогда не было, поэтому отец конструировал разного типа комнатные антенны, но все безрезультатно. Но и такое качество было счастьем: можно было смотреть кино дома. Правда, вечером меня часто выгоняли на кухню, когда родители смотрели фильмы для взрослых. Но я был «малый не промах» и в дверях проделал маленькую дырочку. Особенно мне запомнился фильм под названием «Ханка» (кажется, так, но точно не помню): в нем было много любовных сцен. Но я к ним отнесся спокойно, так как уже видел все это в натуре на школьном дворе. Часто на просмотр фильмов отец приглашал соседей, но мать это не радовало, потому что это были женщины: врач лет сорока, мастер производства лет тридцати и двадцатилетняя студентка. Все они имели на отца виды: он был красивым мужчиной со спокойным характером и начальником «со связями» в Москве.

Конечно, такого полюбит любая женщина.

Если в комнате мать молчала, то на кухне устраивала скандал из-за всякой ерунды. Отец всегда извинялся перед соседями за ее поведение. Со своим телевизором отец промучился еще года три, пока, наконец, не продал его.

Соседка, студентка, часто устраивала небольшие вечеринки у себя в комнате. К ней приходили молодые люди с такими прическами и в таких одеждах, которые я видел только в журнале «Крокодил». Этих молодых людей называли «стилягами». Но мне они очень нравились. Молодые, красивые, оригинально одетые, они резко выделялись на фоне серых, незаметных людей.

Я хорошо помню одного из них, Жорика. Высокий, прическа, как у попугая хохол, черные волосы намазаны бриолином, пиджак с широкими плечами какого-то апельсинового цвета, рубашка, привезенная с южных морей, и галстук с невообразимым рисунком — папуас под пальмой, брюки дудочкой, в обтяжку, и коричневые кожаные полуботинки на толстой подошве. Его внешний вид украсил бы любую обложку западного журнала. Он всегда приходил один, надушенный одеколоном с каким-то резким запахом, и был очень говорлив; в руках его была бутылка вина и пачка пластинок. Через стенку было слышно эту странную, но приятную музыку, называемую джазом. На

следующий день, на подоконнике в кухне стояла вереница пустых бутылок, и, когда никого не было, я собирал из каждой бутылки по капле, пробуя на вкус разные сорта вин. Больше всего мне нравился ликер. Он был очень сладкий и тягучий.

Четвертый класс был закончен мною довольно успешно, в табеле стояло поровну «троек» и «четверок». Зато по поведению у меня стояла «отлично», что было самое удивительное. Всех «хорошистов» и «отличников» направили учиться в «английскую» школу, которая находилась недалеко в новом трехэтажном здании. Мне тоже хотелось учиться в такой красивой школе. Но судьба-злодейка забросила меня в другую: старую, деревянную, одноэтажную школу-семилетку в километре от нашего дома. И мы с Валеркой Соловьевым шесть дней в неделю топали на своих двоих в такую даль: трамваи ходили редко, пешком было быстрее и удобнее добираться.

Рядом с нашей школой был казахский рынок и цирк. На рынке казахов было мало, в основном преобладали русские продавцы с картошкой, зеленью, овощами и молочными продуктами. Осенью приходили казахские караваны с верблюдами. Они привозили маленькие арбузы и яблоки. Мы ходили на этот рынок всегда, как в зоопарк: верблюды, ослы, лошади, овцы, куры, кролики представляли особый интерес для ребенка.

Удивительно было наблюдать за их поведением. Верблюды, безразличные ко всему, тягуче жевали своими большими челюстями какую-то жвачку, а если их кто-нибудь разозлит, то иногда и плевали.

Интересна была одежда у казахов — мужчин: летом и зимой те носили халаты: разноцветные, яркие, они пленяли глаз художника своей пестротой. Женщины были одеты скромнее, но зато увешаны множеством серебряных украшений. Особенно мне нравились их пояса — тонкая, ювелирная работа. Потом такие красивые вещи я видел в музее.

Казахские арбузы в три раза меньше астраханских и по вкусу тоже им уступали. Но я никогда не видел, чтобы астраханские арбузы солили, а казахские продавали из бочек солеными, как огурцы. Вкус их был какой-то странный — резкий, терпкий. Они мне не очень нравились в таком качестве.

Кумыс — кобылье молоко — тоже продавали, но редко. Мой отец просто обожал эти два продукта, а мы с матерью были к ним безразличны. Мне запомнилось, как продавали молоко зимой: торговка стояла, сильно укутанная из-за мороза, а около нее лежали белые, круглые цилиндры — это и было замороженное молоко. Один литр — цилиндр одного размера, пол-литра — цилиндр меньшего размера.

За рынком, через улицу, располагался цирк. Деревянное здание старой постройки впечатляло своими размерами. Летом цирк не работал: артисты ездили по другим городам с гастролями. В октябре начинался новый сезон. В цирк я ходил два — три раза в год, видел всех знаменитых артистов того времени. Особенно запомнился Карандаш, маленький человечек с писклявым голосом.

Внутри здания все было устроено, как обычно в цирках: арена, небольшой балкон для музыкантов, сидения для зрителей ярусами, фойе, буфет, туалеты. У входа висели большие афиши, которые я долго рассматривал, изучая, как нарисованы морды и фигуры животных. В Новый год цирк выглядел особенно празднично. У отца на фабрике раздавали билеты с подарками. В подарок входили фрукты и сласти: яблоко, апельсин или мандарин, вафли, конфеты, небольшая шоколадка. Все это я съедал за один раз и со спектакля уходил с пустыми карманами и набитым сладостями желудком. Новый год в Омске — это самое счастливое время за всю мою жизнь!

Школа нас встретила сильным запахом краски и хлорки. Мы должны были здесь учиться три года: пятый, шестой и седьмой классы. Директором был отставной капитан — артиллерист. Он был маленького роста и хромал на левую ногу, имел зычный голос и ходил в синих галифе и сапогах,

иногда носил китель и пиджак темного цвета. На груди его красовались два ряда наградных планок и знак ранения. Мы его уважали и немного побаивались. Он преподавал географию. Мне его уроки запомнились одним высказыванием: «Бабы — дуры, вывешивают зимой сырое белье и думают, что оно сохнет, а что с ним происходит, сейчас будем рассматривать...» Это высказывание употреблялось часто и «бабы — дуры...» запали в мою детскую память.

Классный руководитель у нас преподавала математику. Все учителя были строгие, но доброжелательные, и часто мне прощали грубые выходки. Нас собрали из двух начальных школ, но несколько потасовок распределили в таблице рангов всех мальчишек, и каждому досталось место по способностям и заслугам. Я снова оказался примерно вторым или третьим по силе среди двадцати ребят. Сильнее меня был только Арбузов — третьегодник. Он старался не вмешиваться в наши распри, но и не позволял себя оскорблять, его больше интересовали девчонки. Парень рано вырос!

В соседнем, пятом классе, были свои лидеры. Как-то в буфете я сцепился с одним из них, но меня побили после школьных занятий, я больше к ним не лез, и меня тоже не трогали. Перед зимними каникулами в наш класс пришел новенький по

фамилии Братцев, рослый парень, но он уступил мне после первой стычки на перемене. Он стукнул Валерку Соловьева, моего приятеля, а я, зажав его между шкафом и стеной, «отделал» кулаками по ребрам и животу, но по лицу не бил. Этим и закончилась наша ссора. Он поплакал, успокоился, но жаловаться не стал.

Вот так мы и жили по своим детским законам.

Учительница физкультуры записала меня в школьную команду для выступления на городских соревнованиях. Они проходили почти каждый месяц — то по бегу, то по лыжам или гимнастике. Призовых мест я не занимал, но всегда был близко к лидерам.

Один раз я выступал на городских соревнованиях по лыжам. Дистанция — пять километров. Учитель сказал: «Особенно рваться не надо, главное — выставить команду для очков». Нам выдали школьные лыжи на мягких креплениях — валенки закреплялись кожаными ремнями. Своих лыж у нас не было.

В воскресенье на краю города, за кладбищем, на хорошей лыжне собралось человек пятьдесят. Участников соревнований запускали по очереди через каждые пять минут. Наша команда тоже рванула вперед к победе. Через километр я еле ехал, с открытым ртом, и рваными креплениями. Сзади себя только и слышал: «Поберегись!» Вперед

пролетали парни старше меня на два-три года, на настоящих гоночных лыжах с жесткими креплениями. Но мы прошли дистанцию, за что учительница физкультуры обещала дать нам грамоты. Но, видимо, забыла...

Еще было много всяких соревнований. В Доме пионеров выступали на состязаниях по баскетболу. В нашей школе не было спортзала, а уроки физкультуры проходили в актовом зале или во дворе. О баскетболе я слышал только по радио. Нам рассказали о правилах игры и — вперед! Мы бегали, как сумасшедшие, стучали по мячу, кидали в кольцо, несколько раз попали. Конечно, проиграли, но главное — выступили командой! Вот такая «показуха» была в спортивной жизни нашей школы. Учитель отбирал самых здоровых ребят, и такая команда должна была проявить себя во всех видах спорта.

Как-то раз в школе произошло важное спортивное событие. Около нас находился цирк, и каждый сезон приезжала новая труппа. Дети артистов всегда учились в нашей школе. К нам в класс пришли сразу два «циркача». Один был акробатом, другой катался на одноколесном велосипеде. Нас особенно поразил акробат, который в физическом развитии был лучше любого из нас во много раз. Высокого роста, красавец, гибкое тело — когда он раздевался на уроках

физкультуры, мы все смотрелись «доходягами». Его литое развитое тело напоминало классические статуи древних скульпторов. Такой звенящей красоты я больше никогда не видел в своей жизни. О его силе и гибкости красноречиво говорили прыжки. Он мог с места сделать сальто вперед и назад. Когда был школьный вечер, «циркачи» демонстрировали нам свое искусство. Вся школа была в восхищении. Учились они по-разному: акробат — очень плохо, велосипедист — очень хорошо. Да им и не надо было хватать звезд с неба. Их жизнь уже стояла на твердых рельсах — они уже были артистами цирка.

Что я еще запомнил из событий этого времени? В шестидесятом году была денежная реформа, и все крупные бумажные деньги заменили маленькими металлическими монетами. Мать давала мне каждый день в школу по десять копеек на завтрак. Сумма невелика, но на нее можно было купить бутерброд с сыром и чай, а яблоко и конфеты приносил из дома. Однажды из школьного окна я увидел на дороге россыпь блестящих монет. Быстро сообразил, в чем дело и, дождавшись перемены, выскочил на улицу, из грязи вытащил целое богатство: мелочи оказалось на три рубля — огромные деньги для ученика шестого класса. У меня был похожий случай в студенческие годы, когда я, оказавшись без копейки в кармане, шел и

мечтал найти пять рублей, и тут под ногами появляется смятая пятирублевая бумажка. Радость была неопишуемая: с этими деньгами зашел в столовую и плотно пообедал на целый рубль, чего раньше себе позволить не мог.

В шестом — седьмом классах, с приятелем Валеркой мы стали посещать кружки в Доме пионеров. Валерка записался в изостудию, а я себе выбрал антропологический кружок, который посещал всего месяц, и все это время руководитель заставлял нас чистить чьи-то кости и черепа. Однажды мне в руки попался череп со всеми зубами и двумя дырками в затылке. Позже я сообразил, что это череп молодого человека, которого застрелили в затылок двумя выстрелами. Я поинтересовался у руководителя историей этого черепа, но он замял эту тему. А череп потом куда-то пропал. Мне надоела эта однообразная чистка костей, и я перешел в изостудию.

У нас с Валеркой был очень хороший преподаватель — настоящий художник, мужчина за пятьдесят, с бородкой и длинными волосами. Он учил нас рисовать натюрморты, гипсовые слепки, фигуры, пейзажи, жанровые сценки. Благодаря этим занятиям я смог впоследствии стать хорошим художником.

В школе я был твердым «средняком»: литература, математика, немецкий язык —

«тройки», а остальные предметы — «четверки». Но в седьмом классе произошел какой-то прорыв в учебе: геометрия, которую большинство одноклассников усваивали плохо, мне стала легко даваться. Теоремы доказывал, задачи свободно решал без всякой подготовки. Наша учительница была просто поражена, когда из троечников я сразу перешел в отличники. Жаль, что в будущих профессиях это не пригодилось. Моей мечтой детства было стать боксером, потом офицером-летчиком и художником. И все это воплотилось в жизнь.

Выпускной вечер в седьмом классе прошел весело, но в душе была тоска: не очень хотелось взрослеть, вступать в большую жизнь. Мне нравилось ходить в эту школу, слушать преподавателей, учиться, быть среди своих знакомых ребят. Но все это закончилось. Выдали аттестат об окончании семи классов, и ... катись куда хочешь.

Валерка подал документы в художественное училище и мне предложил сделать то же самое, но я пошел сначала в авиационный техникум. При сдаче документов заглянул в аттестаты ребят — в них были сплошные «пятерки», конкурс был до десяти человек на место — мне там делать было нечего. И я сдал документы в художественное училище на специальность «учитель черчения и рисования».

Училище находилось на правом берегу реки Омки. Это было старинное двухэтажное кирпичное здание. Учили там четыре года, а потом направляли на работу в школы города. Преподаватели были художниками старой закалки, особенно я, запомнил отца и сына Беловых. Они и принимали экзамены. Было два творческих экзамена: натюрморт с гипсом и жанровая композиция. За натюрморт получил «тройку», а за жанр — «пятерку». Мне пришлось схитрить на экзамене. Я принес заранее заготовленные маленькие рисунки, разбитые на квадратики; выбрав один из них посложнее, перерисовал на большой лист, тоже по квадратам, затем нанес свет и тени, и получилась эффектная композиция с фигурами. Белову-старшему очень понравилось. И он сказал всем, что так и на третьем курсе не каждый студент нарисует.

Литературу и математику я сдал на «четверки» и легко прошел по конкурсу. Стал учащимся художественного училища имени Врубеля. Первые два курса много времени уделялось рисунку, чего я терпеть не мог. Рисунок — это усидчивость, а у меня ее не было. «Тройки» были моими основными оценками. Когда Белов-старший стал нас учить серьезной живописи, а он был народный художник СССР, я сразу оказался в своей стихии. Мое воображение выдавало такие сочетания цветов, что даже Белов

удивлялся и восхищался. За живопись были только «четверки» и «пятерки». Занятия в училище проходили с девяти до шестнадцати часов, а во второй половине дня большинство учащихся продолжали совершенствовать свои творческие работы. А я или занимался боксом, или ходил на свидания, вечеринки и танцы.

Первые два года жил с родителями, а на третьем курсе перешел в общежитие училища. Отец получил новое назначение — директора фабрики в Ярославле. Родители переехали в августе, а в октябре, в сорок четыре года, отец умер от сердечного приступа. У него было тяжелое ранение после войны, а он много курил и совсем не ценил свою жизнь. Однажды на даче отец очень утомился и сел отдохнуть на скамейку. Я, видя его усталость, сказал, что он совсем не бережет себя, что ему надо бросить курить. На что отец просто ответил: «А зачем мне жить? Мне уже все надоело...»

На третьем курсе пришлось подрабатывать: от матери я не получал ни копейки. В училище платили стипендию в двадцать семь рублей. Я трудился по вечерам на разгрузке вагонов; за четыре — пять часов работы мы сразу получали до пятнадцати рублей, а для того времени это были большие деньги. На соревнованиях по боксу иногда тоже перепадало, но это было раз в месяц. К тому же я ухитрился попасть в городскую сборную

младших юношей, и нам на сборах давали талоны на еду, по три рубля в сутки. В общем, как-то перебивался, и даже неплохо: всегда был одет и сыт.

Попутно с учебой в художественном училище посещал вечернюю школу. Об этой школе надо рассказать особо. Ребятам, которые поступали на первый курс училища, старшеклассники советовали параллельно учиться в вечерней школе, так как после третьего курса некоторым исполнится восемнадцать — девятнадцать лет, и их «автоматом» заберут в армию. Доучиваться приходилось после двух-трехлетнего перерыва службы в Советской армии. Меня это не касалось, но я решил тоже окончить среднюю школу — за компанию с друзьями. После этого можно было свободно поступить в институт. Я знал двоих ребят, которые поступили в Московский художественный институт имени Сурикова.

У нас были очень хорошие преподаватели. В вечерней школе вместе со мной учились парни из музыкального и профессионально-технического училища, рабочие с заводов и ребята, которые ушли из дневной школы, чтобы учиться в аэроклубе на летчиков.

Учеба в вечерней школе была три раза в неделю — с шести до десяти вечера. Учителя читали лекции по предметам, ученики писали

конспекты, выполняли контрольные. Кто хотел, тот учился, а я в девятом классе только тянул время, получая «тройки» и «четверки».

В десятом классе все изменилось. У нас появился новый классный руководитель — историк. Меня выбрали старостой класса, пришлось чаще приходиться на занятия и лучше учиться. История и математика стали моими любимыми предметами. Мои успехи в математике поражали всех. На контрольных работах вместо одного варианта решал четыре и раздавал решения всему классу. Когда учительница объясняла новые теоремы, всегда настороженно смотрела на меня, не зная, что я сейчас выкину, потому что часто, прослушав ее доказательства, я предлагал свое решение. Она долго думала и всегда говорила: «Я буду принимать только свое решение!» Из-за моей активности многие учителя относились ко мне настороженно и недолго любили, математичка в том числе.

Тем не менее, за честь школы пришлось выступать мне — участвовать в математической олимпиаде, которая проходила в Омском педагогическом институте. Задания были из школьной программы девятого и десятого классов. Я сдал решение в первой пятерке. На следующий день увидел список победителей и очень удивился. Под вторым местом стояла фамилия В.А.Орлов. Я

не поверил своим глазам и обратился к секретарю. Она подтвердила, что я являюсь победителем. Потом в нашей школе мне торжественно вручили грамоту и приглашение в физико-математическую школу при Московском университете им. Ломоносова, но у меня были другие планы на жизнь. Кроме того, надо было оплачивать проживание и питание в общежитии университета — тридцать рублей.

Так что математик из меня не получился. Зато, каким я пользовался уважением в школе! Директор школы всегда со мной здоровался первым. Моя фотография висела на стенде «Лучшие учащиеся школы». Только из-за «немецкого» и литературы аттестат был подпорчен. Сочинения по литературе писались кое-как и сдавались всегда с опозданием, а немецкий язык не было времени учить, как положено.

Для сдачи экзаменов по математике в школе мне поставили отдельный стол, подальше от других выпускников, чтобы я никому не помогал. Как только я отчитался по своему билету, меня тут же «попросили» из класса. После получения аттестатов вручили грамоту от РОНО и красивую дорогую книжку. Вечером было застолье, на котором я так напился, что потерял книжку, но грамота и аттестат сохранились. Спасибо учительнице физики, которая сильно надрала мне уши, чтобы я пришел в себя и

протрезвел.

Хочу рассказать об одной встрече на олимпиаде. Когда я выполнил задание и вышел в фойе, меня окликнули. Это был знакомый по боксу Олег Кужель — из другой школы. Оказывается, его пригласили для подстраховки: если бы у его приятеля сдали нервы, то он бы выступил на олимпиаде.

Олег был легендарной личностью, я часто дрался с ним в спарринге. Он был старшим сыном полковника. Три года назад его отца перевели из Архангельска в Омск. Полковник был маленького роста, толстый, веселый человек. Мать — красавица эстонка, роскошная светловолосая женщина. Она не работала, а занималась воспитанием двоих сыновей. Олег был копией матери: выше среднего роста, белокурый, с правильными чертами лица. Младший — Гарик, копия отца: маленький, толстенький, всегда веселый. Мать относилась к детям по-разному: если Олега она боготворила, то с Гариком была просто вежливой. Даже мне, парню пятнадцати лет, пришла мысль, что Гарик не ее сын. Видимо, их родители просто сошлись вместе, каждый со своим ребенком. В армии так часто случается.

Гарик был везде середнячком: и в учебе, и в спорте. А вот Олег — я таких людей в жизни больше не видел — был всегда и везде первым. В

школе с первого класса учился на одни пятерки. За отличную учебу его два раза посылали в лучший пионерский лагерь — «Артек». Он всегда входил во все школьные спортивные команды и был первым. В боксе был чемпионом города, в своей возрастной группе. Учился в музыкальной школе на скрипке и всегда участвовал в концертах. Писал стихи и рассказы, печатался в детских, юношеских газетах и журналах. Характер был не таким миролюбивым, как у брата; борец и в жизни, и на ринге. Девчонки были от него без ума.

Я тоже был яркой личностью, но ему уступал. Мне не нравилось, что он пытался над всеми главенствовать; но меня он отличал от всех, видимо потому, что я тоже был боксером, обладал талантами и внешней красотой. Ему нравились мои натюрморты с цветами. Одну картину я ему подарил. Потом его мать попросила сделать еще несколько таких, обещая хорошо заплатить. Я очень уважал их семью, поэтому после летней практики подарил им еще две картины. В благодарность мать Олега подарила мне два набора масляных красок и всегда приглашала на воскресные обеды. Она очень вкусно готовила, особенно какие-то эстонские, латвийские блюда с рыбой, и пекла замечательные маленькие пирожки с мясом. Мне, голодному студенту эта пища казалась «божественным даром», по сравнению со столовской кашей, щами и тухлым

компотом. Жаль, но через год я уехал из Омска, и мы с этой семьей расстались навсегда.

Получив аттестат о среднем образовании, я убрал его подальше и позабыл о нем. Третий курс училища был гораздо легче. Школа была позади, и я из «троечников» перешел в «хорошисты». Художественное училище давало большой объем знаний по искусству. Учили всем видам графики, которая только была известна; мы осваивали акварель, пастель, гравюру, различные техники живописи, скульптуры, фотографии и еще многое — сразу все не вспомнишь. Позже, я встречался с ребятами, которые заканчивали художественные институты, выяснилось, что они мне уступали во многом. В чем-то они были выше — в отдельной специализации, например, оригинальней могли оформить книгу или эффектней выполнить гравюру, но так свободно сделать многофигурную композицию, как я, могли немногие. А мои натюрморты с цветами практически у всех вызывали профессиональную зависть.

Третий курс пролетел незаметно; я подрабатывал грузчиком и еще устроился художником-оформителем на фабрику: делал стенды для «красного уголка», расписывал стены. Расписание моей жизни было «жесткое», поэтому, ни один час в сутках не проходил впустую: учеба, бокс, иногда девчонки, танцы и — работа. От

матери ничего не получал: она занималась младшим братом и собой. Да я и не просил. Она работала экономистом в стройтресте, вечерами подрабатывала на базе уборщицей — за два часа работы имела неплохие деньги, мясо, овощи и фрукты. Брат учился во втором классе. Они мне писали редко, да и я, тоже ленился писать.

В конце второго курса руководство в училище изменилось. Бывший директор, а он был больше хорошим администратором, чем художником, тяжело заболел и уволился. Вместо него из отдела культуры нам прислали отставного полковника, бывшего политрука. До этого он был директором дома «престарелых», директором музея, а теперь стал руководителем Художественного училища. Если бывшего директора мы видели два-три раза в год на линейках и выставках, то этого, по три-пять раз в день, во всех уголках училища. Всем он давал ценные указания, как надо учить искусству. Преподаватели просто закрывали классы, чтобы он не мешал их работе. А он, потоптавшись у дверей кабинета, бежал к следующей двери. Энергии в нем было много. Один раз он битый час без бумажки держал речь перед нами: начал с космоса, прошелся по всей внешней и внутренней политике, рассказал об армии, где мы будем скоро служить, но ничего не мог сказать об искусстве. Вот такого «кадра» нам прислали из отдела культуры.

Через год судьба сыграла со мной злую шутку. В нашем училище курсом старше учился один из родственников директора. Этого парня я несколько раз видел на городских соревнованиях по боксу. Он дрался в полутяжелом весе и на ринге выглядел неплохо. У него, как и у меня был первый разряд по боксу. Одна черта мне в нем не нравилась, на вечерах он всегда был окружен компанией и старался подавлять всех окружающих. Но меня они никогда не задевали, и я их тоже обходил стороной.

В конце июня выпускной курс всегда устраивал прощальный вечер — собрался на него и я. Нагладился, начистился и ждал в общежитии своих подруг. Они немного опоздали, зато принесли бутылку вина. Это вино я спрятал в тумбочку, чтобы выпить потом, так как в училище было много своей выпивки. С хорошим настроением мы подошли к актовому залу. Вдруг оттуда выскакивает мой приятель и держится за испачканный кровью рот. Он прошепелявил, что ему выбил зуб тот самый родственник директора — за то, что в танце он не уступил красивую девчонку. Я буркнул: «Пойдем, посмотрим!» Вошел в зал: танцующие пары — с одной стороны, сдвинутые столы с вином и закуской — с другой. Народу тьма! Это были выпускники и их знакомые, родители и преподаватели. Гремела музыка. Все окна были

открыты, но духота стояла страшная.

В углу за столом сидели пятеро наших обидчиков. Мы, аккуратно лавируя между танцующими парами, двинулись в их сторону. У меня не было никакого желания драться в зале и портить всем настроение. Я просто хотел пригласить его на улицу и спокойно выяснить отношения, а если случится, то и «помахаться» с противником. Но, увидев меня, этот парень вскочил и бросился ко мне. Он «летел», как бык на корриде, глаза были красными от выпитого вина, раскрытый рот издавал какие-то угрозы. Чувствовалось, что он плохо соображал, его кулаки были устремлены в сторону моего лица. Я автоматически сделал «нырок» под его руку и несильно ударил в солнечное сплетение, второй удар нанес снизу в челюсть, тоже несильно. Он как-то неестественно «хрюкнул», закатил глаза и упал на спину, опрокинув стулья и стол с посудой.

После грохота падающего тела и истерического крика каких-то девчонок в зале наступила мертвая тишина. Я нагнулся и попробовал приподнять плечи и голову нападавшего, но липкая и темная жидкость заставила меня отдернуть руки. Из пробитого затылка и рта текла кровь. «Быстрее скорую!» — хриплым голосом крикнул я куда-то в сторону. Затем стал раздвигать стулья и столы, чтобы

вытащить тело на свободное пространство. Я мгновенно сообразил, что «влип» в неприятную историю. Первая мысль была — бежать! А куда? Зачем? Все равно свидетелей драки много — весь зал. Через некоторое время приехала милиция и врачи. Санитары быстро унесли неподвижное тело. А меня, в сопровождении сержанта, повели в кабинет директора, на второй этаж. За столом не сидел, а прыгал на стуле разъяренный директор, размахивая тощими руками: «Посажу! Сгною! Сдохнешь в тюрьме! Раздолбай!»

Мне почему-то стало смешно, видимо, на нервной почве. Мелькнула противная мысль: «От тюрьмы и от сумы не зарекайся!» Несколько моих знакомых ребят уже оказались за решеткой, и все боксеры. Одни — за драки, другие — за воровство и изнасилование. «Вот пришел и мой черед...» — с горечью думал я. Молодой лейтенант составлял акт происшествия, выслушивал свидетелей. Я скупно отвечал на его вопросы и смотрел в окно. Там, на обрызганных солнечными лучами ветвях, беззаботно прыгали два воробья и о чем-то спорили между собой. А в моей груди была гнетущая тоска.

На столе зазвонил телефон, и директор схватил трубку, потом, молча, передал ее лейтенанту. Тот выслушал и громко сказал: «Есть!», — повернулся ко мне и небрежно бросил: «Пошли на обследование». В больнице я сдал кровь